

A
K 835

На правах рукописи

Кропотов Сергей Леонидович

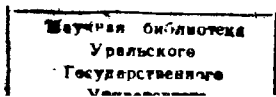
**ПРОБЛЕМА
« ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ »
СУБЪЕКТИВНОСТИ В НЕКЛАССИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВА**

09.00.04. – эстетика

Автореферат диссертации в виде опубликованной монографии на
соискание ученой степени доктора философских наук

Скрит

Екатеринбург
2000



Работа выполнена на кафедре эстетики, этики, теории и истории культуры Уральского государственного университета им. А.М.Горького

Научный консультант:

доктор философских наук, профессор А.Ф. Еремеев

Официальные оппоненты:

доктор философских наук, профессор М.С. Каган

доктор философских наук, профессор Л.А. Мясникова

доктор философских наук, профессор Н.В. Синцов

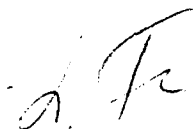
Ведущая организация – Самарский государственный университет

Защита состоится 21 марта 2000 г. в 15⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета Д 063.78.06 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философских наук при Уральском государственном университете им. А.М. Горького (620083 г. Екатеринбург, К-83, пр. Ленина, 51, комн. 248).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Уральского государственного университета

Автореферат разослан 21 февраля 2000 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор философских наук, профессор



Н.В. Бряник

Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Постоянная изменчивость искусства в XX веке, резкое усложнение его концептуальности и возрастание разнообразия сосуществующих художественных практик приводят к многочисленным попыткам объяснения данных процессов. Непрерывная инновационность художественной культуры наводит на мысль, что в самом этом перечне казалось бы несовместимых друг с другом и уже почти исчерпанных стилистических вариантов современного искусства должна присутствовать некая логическая последовательность. С позиций имманентного анализа художественного развития ее могла бы объяснить системность художественного языка, остающаяся незыблемой несмотря на процессы распада, атомизации и переструктурирования элементов не только в эпоху модернизма, но и в постмодернизме.

Вместе с тем поразительная синхронность таких продолжительных и по своим мировоззренческим установкам довольно целостных эпох как “модернизм” и “постмодернизм” с двумя периодами самого быстрого и во многом непредвиденного экономического развития в 1875-1914 и в 1950-1980-х гг. позволяет поставить вопрос о вне-художественных, объективных факторах всех этих радикальных изменений. Возникает потребность в осмыслении объективных детерминант этой изменчивости и сложности, действующих не только на уровне духовно-ценностных устоев субъективной жизни человека, но представленных также и в самих парадигмальных философско-мировоззренческих основаниях искусства. В то же время эти объективные вне-художественные факторы плохо поддаются описанию в категориях классической эстетики.

В диссертации предпринимается попытка исследования “экономического измерения” человеческой субъективности в неклассической философии искусства. На наш взгляд, понятие “экономии” в современном гуманитарном дискурсе может сыграть ту же ключевую роль для понимания корреляции и синхронности смены парадигмальных программ в различных подсистемах культуры, как категория “варьета” для культуры Возрождения. В то же время, в российской гуманитарной науке явно недостаточно изучен процесс глубинной экономизации как пространства и времени, так и человеческой субъективности, вовлеченной в производство знаковых различий (основного товара постиндустриальной цивилизации) и, наконец, явно ускользает из поля зрения ученых экономическая подоплека бесконечной изменчивости художественных языков и стилей. Возникший чуть более ста лет назад феномен неклассической западной рациональности, проявившийся прежде всего в науке, философии и искусстве модернизма, является не чем иным, как рефлексией на позитивные и негативные последствия

необратимой модернизации. Классический, неклассический, пост-неклассический типы сознания как особые, качественно своеобразные уклады духовной, познавательной и художественной активности современного человека чередуются и наслаиваются друг на друга. Рассматривая их сосуществование в духовной культуре уходящего века, мы сконцентрировали исследование вокруг одной проблемы: взаимозависимость наиболее абстрактных, теоретических, высоких и “чистых” феноменов духовной сферы и качественных изменений в экономической реальности.

Для большинства отечественных исследователей интерференция экономики и мышления, инноваций художественного мира и товарного обмена, казалось бы, навсегда закрыта авторитетом К.Маркса и Ф.Энгельса. Узловыми пунктами марксистской парадигмы стали темы мимезиса, товарного фетишизма в духовном производстве, восстановления утраченной целостности человеческого бытия в результате преодоления отчуждения, порождаемого буржуазным товарным производством. Вопрос о внешних бытийных основаниях рациональности переведен здесь в плоскость экономической детерминации духовной сферы. Однако с того момента, когда возникает феномен культурной индустрии, уже можно говорить об устаревании марксовского различия культуры и экономики как базиса и надстройки. В тот момент, когда произведения искусства превращаются в общедоступный товар, механически репродуцируются и вовлекаются в круговорот меновых стоимостей, сам товар в потребительском обществе становится образом, репрезентацией, зрелищем, а институциональные способы его экспонирования стремительно эстетизируются. Экономика и культура столь тесно переплетаются друг с другом в равноправных и “индетерминированных” отношениях, что сопоставимы уже не как причина и следствие, но на принципах дополнительности и неопределенности в разрешении вопроса о «первичности/вторичности».

Обоснованность соединения искусства и философии в одном исследовании определяется тем, что эпоха модернизма отмечена постоянным нарушением границ между философией и искусством, возникновением маргинального философско-художественного жанра письма у Ницше, Батая, Хайдеггера, Деррида и др. Подобная интерференция призвана восполнить метафизическую недостаточность классического философствования, производящего лишь дискурсивные доказательства. Однако, по словам Ницше, трудно поверить в бытийную укорененность голоса, произносящего доказательства. Именно потому для современной философии характерно желание позаимствовать художественно-суггестивный способ обоснования своих постулатов, стремление вскрыть вне-разумные основания современной рацио-

нальности, властное присутствие бессознательного в сознании.

И неклассическая философия, и искусство в равной степени ведут общий поиск устойчивых оснований современного духовного мира. Среди доминирующих реальностей ведущая роль принадлежит ускорившемуся течению времени, отношения с которым, рефлексия следов которого в пространстве субъективности и делают современное искусство и философию современными. Однако ни модернизация (включающая в себя радикальные изменения “органических”, естественно-исторически сложившихся форм существования хозяйственной, политической, а также повседневно-бытовой жизни), ни капитализированное время сами по себе не являются первичными факторами. Они вовлечены в сферу циркуляции экономики, являющейся подлинным “вечным двигателем” всех стремительных изменений. В пору своего возникновения модернизм как художественный феномен претендовал на независимость от всего эмпирически обыденного, неподлинного “с точки зрения бытия”, утилитарно-профанного, – и прежде всего от экономики. Вместе с тем, почти одновременно в мировоззрении модернизма или в неклассической философии возникает момент осознания не просто детерминированности культуры, духовности, субъективности внеположенными экономическими реальностями, но принципиальной изоморфности этих разнородных сфер, каждая из которых суверенна и развивается по своим внутренним законам. Осмысление первых симптомов этой неочевидной близости связано с появлением экономической метафоры в работах Ф.Ницше, Ф.де Соссюра, З.Фрейда, а впоследствии и у М.Хайдеггера, Ж.Лакана, Ж.Делеза. Наравне со стихией бессознательного язык как способ семиотического структурирования реальности начинает описываться в терминах *обменов и инвестиций*. Сам же феномен воссоединения экономики и культуры, становясь фактом художественной и философской рефлексии, позволяет зафиксировать границу между классической и неклассической рациональностью. В эпоху пост-индустриальной революции эта тема превратилась в устойчивый мотив пост-неклассической философии, получив обстоятельное развитие у Ж.Батая, Ж.Деррида, Ж.Бодрийяра применительно к сфере знакового производства, структурной организации и функционирования текста. Сама современная экономика с неизбежностью производит в избытке все новые языки описания. На сегодня экономический дискурс, по мнению Ж.-Ф. Лиотара, стал безусловно доминирующим в западной гуманитарной науке. Тематическим полем нашего исследования становится зарождение этого дискурса в неклассической европейской философии, применение его к описанию гетерогенных процессов художественного производства и максимальная экспансия этого дискурса в постнеклассической западной

философии искусства. Именно поэтому ключевыми фигурами нашего исследования стали философы, которые в своих работах последовательно представляют стадии развития экономического дискурса: Ф. Ницше, Ж. Батай и Ж. Даррида играют репрезентативную роль начала, перехода и конца становления экономического дискурса в современной гуманитарной и художественной практике.

Степень разработанности темы.

Исследование “экономического измерения” субъективности в западной философии искусства как концептуальной стратегии решения проблемы адекватной репрезентации новейших тенденций художественного развития потребовало осмысления достаточно значительного и разнородного корпуса источников. Всю освоенную автором отечественную и зарубежную литературу можно условно разделить на несколько групп.

В первую группу можно объединить публикации отечественных и зарубежных авторов, посвященные изучению типов европейской рациональности, наличию в каждом из них различных стилей мышления и причинам их периодического обновления. К этой группе относятся работы Н.С. Автономовой, М. Барга, Л.М. Баткина, В.С. Библера, В. Бибикина, П.П. Гайдено, Р. Гальцевой, Ю.Н. Давыдова, Б.Г. Кузнецова, И. Т. Касавина, Р. Коллингвуда, В.Е. Кемерова, Т. Куна, В.А. Лекторского, К.Н. Любутина, П.В. Малиновского, М.К. Мамардашвили, Н.Б. Маньковской, Н.В. Мотрошиловой, Н.В. Налимова, В.Н. Поруса, Э.Ю. Соловьева, В.С. Степина, В.С. Швырева и других авторов. Здесь же следует выделить тех, кто рассматривает экономические предпосылки появления новых когнитивных стилей, их влияние на инфраструктуру мышления. Это такие выдающиеся мыслители и историки как Ф. Бродель, М. Вебер, М. Фуко, Х. Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер, Ю. Хабермас, К. Ясперс.

Влияние на современную субъективность трансформации экономики при переходе ее в постиндустриальную фазу изучали экономисты, социологи, философы, историки культуры, такие как Г. Беккер, Д. Белл, П. Бергер, П.Бурдьё, В. Вельш, Дж. Гэлбрейт, Ф. Гаттари, Э. Гидденс, Ж. Делез, Ф. Джеймисон, П. Друкер, М. Маклюэн, М. Фридман, А. Хьюссен, А. Этциони и др.

Особый интерес представляли работы, специально рассматривающие феномен неклассической рациональности в свете наметившейся внутри нее перспективы размежевания между неклассическим и постнеклассическим стилем мышления (Г. Блума, С. Жижека, И. Пригожина, И. Стенгерса, И.П. Смирнова, П. де Мана), а также рефлексирующие своеобразие духовной ситуации в эпоху перехода к постиндустриальному обществу как сдвигу от модернизма к постмодернизму

(З. Бауман, Дж. Ваттимо, Ф. Джеймисон, И.В Ильин, Т.Н. Клименкова, П. Козловски, В.А. Конев, Ж.-Ф. Лиотар, М.Н. Липовецкий, В.В. Малявин, С.Н. Некрасов, А.С. Панарин, М.К. Рыклин, А. Салмин, И. Хассан и др.).

Особую группу источников составили работы, непосредственно посвященные творчеству трех наиболее репрезентативных фигур «экономического дискурса» — Ф. Ницше, Ж.Батая, Ж.Деррида. Это работы К. Свасьяна и В.А. Подороги о Ф.Ницше; Р. Барта, М. Бланшо, П. Кюссовски, Д. Холье, Ж. Хаймоне, Н.О. Брайена о Ж.Батае; О. Вайнштейн, М.К. Рыклина, В.А. Подороги, А. Гараджи, А. Плотницкого, И.В. Ильина, В. Ивбулиса о Ж. Деррида.

Для современного западного общества, “буквально одержимого экономикой и политически, и ментально” (А. Кустарев), экономическая реальность служит инструментом осмысления специфики новых объективных и субъективных предметностей. Ей, попросту говоря, безусловно доверяют как объективно протекающему процессу игры сил. Работы нео-марксистов Т.Адорно, Л.Альтюссера, М.Хоркхаймера, В.Беньямина, Д.Лукача доказали внутреннюю связь программных установок духовного опыта модернизма и позднебуржуазной индустриальной экономики. Особенно важными для нашего исследования стали работы Т.Адорно и В.Беньямина, в которых рассматривается вовлечение культуры и полагаемого ею способа символической репрезентации предметов значениями в сферу экономики индустриального общества, что приводит к реорганизации всего корпуса культурных смыслов, преобразует их в соответствии с логикой товарности.

Другую группу работ составили исследования архаических и современных гетерологических практик, нео-лиминальных состояний в ритуальных обрядах повышения социального статуса. Это монографии философов, культурологов, антропологов Ф. Боаса, А.Ф. Еремеева, Т.Х.Керимова, М. Мосса, В.Тернера и др.

Еще один круг работ, наиболее близко соприкасающихся с нашим исследованием составили те, где в анализе неклассической западной философии искусства не только прямо указывается на наличие экономического дискурса, но само различие двух обозначенных выше экономических матриц в сфере духовного производства становится знаком для дифференциации внутри парадигмы неклассической рациональности. Здесь следует назвать прежде всего таких авторов как С.Вебер, Б.Гройс, С.Мелвилл, В.А. Подорога, А.Плотницкий, М.Райан, Г.Раппопорт, М.К. Рыклин, Б.Смит, Г.Ш.Спивак, Г.Шапиро, Г.Улмер и др.

И, наконец, последнюю группу составили работы культурологов,

искусствоведов, литературоведов, критиков, напрямую связанных с современной художественной практикой, исследующих качественные изменения в системе художественной репрезентации эпохи постмодерна: Р.Барта, А.Данто, Дж.Дики, Р.Краусс, Д.Кримпа, Л.Марина, К.Оунса, В.Тупицина, М.Тупициной, Д.Харви и др.

Цель и задача исследования.

Целью диссертационного исследования является анализ “экономического измерения” субъективности в системе бытийных парадигмальных оснований современного духовного опыта посредством изучения экономического дискурса, сложившегося в западной неклассической философии искусства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

— исследовать логику становления и эволюции экономического дискурса от “философии жизни” Ницше до “грамматологии” письма Ж.Деррида,

— выявить эвристические возможности экономического дискурса для осуществления типологии неклассической субъективности и, в частности, развития разнообразных художественных практик в XX веке, а также для вычленения внутри нее так называемого пост-неклассического этапа;

— раскрыть взаимозависимость семиотического производства человеческой субъективности в индустриальном и постиндустриальном обществе от принципиально гетерогенной экономической схематики мышления, функционирующей в современной культуре (сосуществования моделей “рестриктивной экономики” и “всеобщей экономики”);

— выявить специфику разнообразных способов текстуальной репрезентации экономических эффектов в неклассическом и пост-неклассическом искусстве (коллаж, монтаж, аллегория, феномен возвышенного, слоисто-плоскостное построение произведений, инверсия ценностных оппозиций в современном художественном дискурсе и т.д.).

Методологические основы исследования.

Исследование “экономического измерения” субъективности потребовало построения такой методологии, которая учитывала бы философско-мировоззренческие, социокультурные и конкретно-художественные уровни проблемы. Как следствие, в диссертации сочетаются три подхода: диалектически-рефлексивный, историко-культурный и деконструктивный. Первый позволил нам выявить взаимодополнительность отношений тождества и различия, внешнего и внутреннего, системного и внесистемного, текста и контекста, дискурсивного и внедискурсивного, наконец, господства и подчинения

в описании функционирования экономических, культурных и художественных матриц современного духовного пространства (семиотического производства субъективности). Историко-культурный подход, прежде всего в его пост-структуралистском варианте — как семиологическая археология культуры — позволяет описать эволюцию основных этапов современного художественного мышления в широком социокультурном контексте. Он дает возможность рассматривать сдвиг от художественно-философской программы модернизма (пророческого, сверхчеловечески-проницательного взгляда) к постмодернизму (возникновению “читающего взгляда”, феномену текстуальной визуальности) как симбиоз нескольких наслаивающихся эпистем, каждая из которых “отсылает” к специфической экономической матрице.

Наконец, деконструктивный подход, понимаемый нами как конструктивно-рефлексивное отношение к системам художественных конвенций, позволяет выявлять предельные философско-мировоззренческие основания в пространстве условностей художественного текста. Его применение современной художественной критикой и неклассическим западным искусствознанием, ориентированным на рыночные формы существования искусства, позволяет не только восполнить ограниченность языка классического искусствознания, но и осуществить описание постмодерной философско-художественной практики репрезентации репрезентации.

Научная новизна исследования.

В диссертации разработана концепция “экономического измерения” человеческой субъективности, реализующейся в формах философского и художественного существования, произведен анализ эволюции “экономического дискурса” в неклассической философии искусства. Основные результаты исследования, определяющие его новизну и выносимые на защиту, заключаются в следующем:

1. Выявлено наличие общих программирующих матриц в классической, неклассической и пост-неклассической эпистемах с изменяющейся социально-экономической реальностью от раннебуржуазного к постиндустриальному обществу. Показано, что эволюция философского и художественного дискурсов коррелирует с процессом всесторонней модернизации западного общества, производящей смещение духовно-ценностных устоев субъективности и являющейся основой для культурной рефлексии.

2. Уточнены параметры описания классической, неклассической и пост-неклассической типов рациональности путем введения в систему описания онтолого-экономических характеристик, таких как сдвиг от отождествления к различению структурных начал бытия и мышления;

переход от централизованного субъекта к анализу внесубъектных детерминант субъективности; превращение негативности (изменчивости) из внешней границы рациональности во внутреннего законодателя субъективности.

3. В неклассической философии искусства вычленен и проанализирован “экономический дискурс”, артикулирующий взаимозависимость феноменов духовной сферы и качественных изменений в экономической реальности, рассмотрены его наиболее представительные фигуры – Ф.Ницше, Ж.Батай, Ж.Деррида. Впервые в отечественной литературе исследована фундаментальная роль “экономической матрицы” письма для понимания концептуального своеобразия мировоззрения Ф.Ницше. Многоликий стиль “первого модерниста” Ницше, нарушение им междисциплинарных границ представлен в диссертации как трансгрессия эпистемологических пределов классической европейской рациональности. Рассмотрена художественная философия Ж.Батая, перемещающего экономическую проблематику в сферу текстуальности, в область циркуляции значений и избыточного производства знаковых систем. Проанализирована экономическая концепция письма Ж. Деррида, являющегося символической моделью бессознательной схематики мышления, ее эвристический потенциал для западного постмодернистского искусствознания.

4. В исследовании современного искусства и художественной критики обоснованы новые возможности для мимезиса в нереалистическую эпоху как текстуальной репрезентации экономических эффектов в художественном тексте. Концепция “экономического мимезиса” позволила выявить соответствие между избытком коннотативных значений в искусстве и эскалацией знаковых различий в товарном производстве в постиндустриальном обществе. Выявлена глубинная связь дискурса художественной критики с изменениями отношений господства и подчинения в данном обществе.

5. Впервые в отечественной эстетической науке раскрыт потенциал применения стратегии деконструкции к анализу произведений изобразительного искусства и их социокультурного функционирования. В диссертации показано, что доминирующей формой постмодерного художественного мышления становится аллегория как манифестация отношений неразрешимости (нечитаемости) двух-противоречивых слоев значений внутри одного текста.

Апробация и практическая значимость исследования.

Результаты исследования прошли апробацию на конференциях “Авангардные направления в советском изобразительном искусстве”

(Екатеринбург, 1993), “Постмодернизм и национальная традиция” (Москва, 1994), “Квадратура конструктивизма” (Москва, 1994), “Война, мир, ад и рай в искусстве, культуре, философии XX века” (Омск, 1995), “Человек в пространстве времени” (Омск, 1996), “Грани культуры” (Санкт-Петербург, 1997). Основные идеи и результаты диссертационного исследования обсуждались на кафедре эстетики, этики, теории и истории культуры Уральского государственного университета, диссертация была рекомендована к защите.

Результаты диссертации были использованы автором в учебном процессе – при чтении базовых курсов “История культуры”, “Культурология” на философском, историческом факультетах, факультете журналистики УрГУ, на экономическом, юридическом факультетах, факультете социальной психологии Гуманитарного университета г. Екатеринбурга, а также при чтении спецкурсов “Философско-мировоззренческие основания искусства XX века”, “Экономическое измерение субъективности в западной философии искусства”.

Разработанная в диссертации концепция “экономического измерения” субъективности стала методологическим основанием для исследования и критического анализа современного уральского искусства.

Структура исследования. Диссертация исследования состоит из **Введения**, четырех основных глав и **Заключения**. Общий объем работы – 405 с.

Основное содержание работы

Во **Введении** обосновывается актуальность темы исследования, выявляется философско-экономическая и историко-культурная значимость проблемы, фиксируется степень ее разработанности, формулируется цель и задачи диссертации, ее методологические основы, научная новизна и практическая ценность.

В первой главе “Рождение неклассической рациональности из духа буржуазной экономики” рассматривается синхронизация радикальных изменений в духовной культуре эпохи модернизма и постмодернизма с двумя периодами самого быстрого развития в экономике в 1875-1914 гг. и 1950-1980 гг., соответствующими фазе зрелого индустриального общества и зарождению постиндустриальной цивилизации. В § 1 “Неклассическая философия как рефлексия децентрированной субъективности” доказывается наличие общих программирующих матриц в философии и искусстве модернизма, с одной стороны, и в поздней буржуазной индустриальной экономике – с другой. Все проблемное поле модернизма формируется как переопределение границ классического разума путем критической рефлексии пределов рациональности изнутри

нее самой. Процесс этот разворачивается под сенью фигур Канта и Гегеля, расположивших внутренний мир человека между “конечным познанием”, рассудочным слоем рациональности и слоем сверхчувственным, иррациональным или ино-рациональным как “началом и следом разумности”. Ограниченность рассудка кроется в неотрефлексированности им своего собственного метода, а его здравый смысл, считающий себя подлинным, реальным сознанием, на самом деле является бессознательным пленником игры абстрактных дискурсивных различий, абсолютизированных оппозиционных определений: круговорота простых чувственных очевидностей, обмена понятийными определениями и мыслительными представлениями, принимаемыми за саму действительность. Он не замечает границы между собой и сферой разума и потому применяет свои дефиниции за пределами применимости. Поэтому рассудок “всегда беднее там, где мнит быть богаче всего”, – отмечал Гегель. Таким образом, в классической европейской культуре тщательно упорядоченное дискурсивное знание, обычно называемое рациональным, на самом деле подменяет рациональность и разум рассудочностью и рассудком, а позитивную, утвердительную способность человеческой субъективности к синтезу вытесняет, по словам Гегеля, “отрицательной, негативной” или аналитической, разделительной способностью мышления. Однако проблематизация устоев рациональности в немецкой классической философии изнутри и по законам мышления, еще не ставит под сомнение ни властную фигуру разума, духа как господствующую в мире и познании силу, ни саму идею позитивной центрированности человеческой субъективности вокруг самосознания, самости личности, истины и смысла.

В диссертации утверждается, что переход буржуазной экономики в новое качество – к монополистическому капитализму в эпоху модернизма вызывает смещение в пространстве субъективности, порождает ее негативно центрированный вариант. Гегелевский тезис о возрастании рефлексивности искусства для модернизма означает эскалацию желания к другому, поскольку рефлексия невозможна без соотнесения “я” субъекта с другим самосознанием. Постоянное воспроизводство подобного желания свидетельствует о нестабильности “я”, о недостоверности его идентификаций при возрастании их множественности в условиях перехода от частной собственности раннего капитализма к собственности корпоративной в эпоху развитого индустриального капитализма. Место работ Ф.Ницше, М.Вебера, Ф.де Соссюра, М.Фуко для парадигмы неклассической рациональности подобно той роли, которую играл Гегель для классической философии. Они раскрывают в новых исторических условиях структурное родство или изоморфное соответствие старых экономических практик и

мыслительных схем рациональности, законов функционирования языка и самих определений разумности в раннем буржуазном обществе. В диссертации мы развиваем тезис о том, что схематика, форма мышления накладывает отпечаток на внутреннее пространство субъективности, влияет на ее содержательность. Формирование схематики субъективности доиндустриального общества (или классической эпистемы) покоилось на господстве калькулятивного принципа исчисления, освоения и контроля над любой стихийной реальностью. За парадигмой классической рациональности стояла *экономика эквивалентного*, т.е. “разумного и соразмерного” обмена богатствами эпохи раннего промышленного капитализма. Сфера обращения, как доказывает М.Фуко, оказывалась общим пространством для функционирования (а как следствие и для аналитического сопоставления в гуманитарном знании) денежных знаков и знаков языка, природных богатств и образных мыслительных представлений. (При этом сама возможность сопоставлений определяется тождеством отношений бытия и мышления.)

Традиционным признаком неклассической рациональности в отечественной философской литературе принято считать в *первую* очередь *негождественность* или *гетерогенность* структурных начал *бытия* и постигающего их *сознания*. Формулируемый в гегелевских терминах как всеобщее различие, этот принцип означает отказ от опоры на самосознание как на краеугольный камень в дискурсе гуманитарных наук, от взгляда на разум как господствующую в мире силу. Применение экономических праметров к субъективности позволяет нам в диссертации трактовать модернизм как смену дисциплинарной матрицы постановки и решения мыслительных задач в неклассической философии и искусстве. На опустевшее место “хозяина в доме” в человеческой субъективности гуманитарное знание отныне ставит такие “грубо материальные факторы” как экономика труда (К. Маркс), “жизнь” со свойственной ей волей к мощи (Ф. Ницше) или бессознательное как “беззаконный закон желаний” (З. Фрейд). “Язык как дом бытия” (М.Хайдеггер), носитель “бессознательных структур социальности” (Ж.Лакан), понимаемый как открытое множество материальных элементов, способен навязчивым образом действовать изнутри идеальной реальности сознания. Таким образом, в эпоху модернизма труд, жизнь, желание, язык образуют многократно различенную, “пористую” или сотканную из мыслительных различий всеобщую среду обитания – инобытие, негативное (свое-иное) субъективности. Вот почему в сфере искусства, очищенного от репрезентативных функций, онтологизированный язык воскресает как самовластная сила, несвязанная обязательствами образного представления или обозначения предмета.

Вторым отличительным признаком неклассической рациональ-

ности, описанным как в работах представителей Франкфуртской школы, так и отечественных философов (Н.А.Автономова), является *переход от рефлексивного, централизованного на самом себе субъекта к анализу внесубъективных детерминант субъективности*. В эпоху модернизма сама психическая структура личности, формируемая в семье, подвергается экономизации: под воздействием проникновения в психику законов капиталистического производства происходит разложение эго-формации человеческой субъективности – ее “самости” вместе с “самопознанием, самовыражением, самоутверждением, самообладанием, самосохранением”. Таким образом, появление феномена децентрированной субъективности требует переосмысления статуса периферийных слоев внутреннего мира человека, обнаруживает в его психосоматическом пространстве действие внешних интериоризированных законов, авторитетов и управляющих им сил. Любая рефлексия начинается с осознания наличия зазора, пустоты между сознанием и его объектом, включая другое “Я” или само сознание.

В диссертации нам удалось выделить *третий признак неклассической рациональности: негативность из внешней границы превращается во внутреннего законодателя, в существенный момент всеобщего*, проявляющийся только благодаря непрерывной изменчивости объективного и субъективного мира. Следовательно, опосредованность негацией самодвижения современного духа, а желанием другого — всякого содержания самосознания, является “всеобщим различием” или пространством смены идентичности субъекта. Иными словами, утрата субъектом устойчивой персональной идентичности и начало сдвига идентификаций в сторону множественного “Я” предполагает наличие разрыва в сфере субъективности, ее желание к самопреодолению служит пустым медиумом, обеспечивающим движение от одной идентификации к другой, и возможно этой пустой средой и является сам субъект (С.Жижек). Неклассическая философия актуализирует гегелевскую диалектику внутреннего и внешнего: схематика мышления с характерным для позднего капитализма императивом превышения собственных пределов и логикой непрерывной изменчивости, проникает вовнутрь субъективности. Разум как позитивная сверхчувственная сила, сам оказывается рабом игры распоряжающихся внутри него внешних сил, опосредован правилами дискурсивности, а изменчивость из мира мнений и преходящих рассудочных дефиниций проникает теперь “в само сверхчувственное”, распространяется на законы мышления и сферу культуры.

Превращение экономики из фактора внутренней неустойчивости системы рациональности в иллюзорно-компенсаторный инструмент метафоризации создает парадоксальную ситуацию: надежды на

стабильность субъективности и миропорядка эпоха модернизма возлагает на источник дестабилизации и причину собственной слабости, восполняя тем самым ограниченную рассудком разумность и “усеченную” отчужденными силами волю человека. Экономика с ее сверхчеловеческой мощью как пространство производства “*всеобщего различия*” сакрализуется, и в качестве перманентного источника странности наделяет *непрерывную изменчивость* и всеобщее *опосредование негативностью* статусом эзотерического. Экономическая тематика в современной философии апорийным образом утверждает то, что одна из исходных аксиом неклассической рациональности (разрыв тождества бытия и мышления) запрещает. В рамках эпистемы неклассической рациональности экономика оказывается сверхчувственным законодателем – тем внешним сознанию непознаваемым и неконтролируемым пределом, законы которого несводимы к законам мышления. Она заменяет центральную метафору “механизма” в классической эпистеме, выступая организующим принципом мыслительного синтеза гетерогенных слоев субъективности, субстанцией-силой, которая придает существованию разнородных элементов форму упорядоченной взаимосвязи.

Следствием капитализации времени и экономизации пространства человеческой субъективности, попыткой рационализировать ее и привести в соответствие с новыми культурными реальностями эпохи позднего индустриального общества и стал модернизм, анализу которого посвящен § 2 “**По ту сторону модерности: размежевание с модернизмом внутри неклассической рациональности**”. Именно в период экономического бума последней четверти XIX в. модерность, как принадлежность к современности наделяется сверхценным статусом. Модерным считается то, что объективно выражает спонтанно обновляющийся дух времени, но при этом новизна его манифестаций в науке, философии или искусстве обесценивается по мере появления очередного стиля с еще большей новизной. Переориентация интеллектуальных продуктов на динамические процессы современности, безусловно, противопоставляет их классической мыслительной традиции, включающей в свой корпус лишь то, что “неподвластно времени”. Однако, скрытая соотнесенность с классическим, отмечает Ю. Хабермас, в модернизме все же сохраняется, несмотря на разрыв с устойчивыми стереотипами рациональности, целесообразности, экономичности и эстетической оформленности произведения. Связь с классическим наследием осуществляется путем интенсивного поиска модернизмом собственных корней как точки опоры (откровения о подлинных истоках бытия, остановившейся современности, незапятнанной релятивностью истории), неподвластной разрушительному действию времени. Поэтому модернизм как выражение

“опыта мобилизованного общества, ускоряющейся истории, разорванной повседневности” (Т.Адорно) является самоотрицающим движением: внутри прославления современности он утверждает как раз то, чему он противостоит.

В диссертации вводятся два принципиальных параметра модернизма: во-первых, это утопическое стремление науки, искусства, философии к самоценности, объективности и независимости как друг от друга, так и от соображений социально-экономической пользы; во-вторых, это автономизация языка искусства, при которой цвет, линия, звук, движение перестают быть его первичными элементами, но сами средства выражения и технические методы продуцирования изображения занимают место художественного предмета, становясь настоящими героями, подлинными квази-субъектами в поле действия децентрированной субъективности. Оба параметра, несмотря на претензии модернизма быть “незаинтересованным” в служении ценностям утилитарного вкуса, свидетельствуют о *превращенно-экономическом характере* культуры модернизма. Сознание модерна возникает тогда, полагает Ю. Хабермас, когда институционально закрепляется зависимое от рынка продуцирование произведений искусства, сопровождаемое бескорыстным потреблением этих произведений. Данная антиномия, поддерживаемая художественной критикой той эпохи, говорит скорее об усеченной, неполной или ограниченной экономичности культуры – своего рода противоречии между всеобщим экономическим характером художественного производства и лишь по видимости внеэкономическим, индивидуальным характером восприятия.

Противоречивость модернизма сделала его проект уязвимым как для философской, так и для художественной критики, подвергла его испытанию на прочность давлением со стороны качественно изменившейся в послевоенные годы экономической реальности, властно вторгшейся императивами новой уже пост-неклассической рациональности в субъективный мир современного человека. Это привело к окончательному распаду модернизма, формированию в его проблемном поле еще более радикально-современной и критичной философско-мировоззренческой позиции. Пришедший на смену постмодернизм предлагает принять «вызов сложности» со стороны меняющейся социально-экономической реальности, ускорившегося течения времени. Вопреки ожиданиям простоты истоков, внутри самих первоначал нашей субъективности и причин “временных экстазов” обнаруживается бездонная сложность, а сами источники нестабильности – время и постиндустриальная экономика – усложнились настолько, что не поддаются прежним способам линейно-исторической (трехфазной) и образно-теоретической репрезентации.

За этим размежеванием стоит сдвиг от линейной архитектоники мира к нелинейной, но серьезная переоценка конфигурации всей системы параметров неклассической рациональности: всеобщего *различия*, *опосредования негативным* любого акта рефлексии или процесса *изменчивости* в децентрированной субъективности. Это нашло выражение, прежде всего, в утрате доверия к всеобщему принципу прогрессивного развития, к поступательному движению истории. Невозможность занять позицию онтологической или познавательной внаходимости по отношению к искомым в неклассической философии бытийным реалиям при одновременном продуцировании фиктивных различий (оппозиция модернизма и постмодернизма – одно из них) является причиной кризиса репрезентации как объективного отражения, происходящего в условиях невиданного прежде триумфа аудио-, визуально-, информационно-репродуктивных технологий. Именно поэтому в философии постмодернизма разрабатывается проблема нереалистической эпистемологии как в искусстве, так и в практике естественных и гуманитарных наук, опирающаяся на теорию речевых актов Дж.Л. Остина, принцип “пролиферации” П. Файрабенда – умножения разнообразных теоретических описаний – в сочетании с теорией “языковых игр” Л.Витгенштейна. Постмодернизм фиксирует внимание на исторической изменчивости конвенциональных дискурсивных правил знания. В нем вычлняются такие разнородные компоненты как прикладное и фундаментальное знание (функционирует подобно оборотному и фондовому капиталу - по законам обращения денежной массы), нарративный уровень знания (способ присвоения социального опыта или историческое развитие науки, когда путем повествования об открытиях и теориях обосновывается надежность устоев мировоззрения). Тем самым современная наука вписана в квази-экономическую языковую игру “легитимации/делегитимации” картины мира посредством бесконечной переоценки и постановки под вопрос ее собственных оснований. В условиях постмодерности, согласно Ж.-Ф. Лиотару, намечается новый путь экономической легитимации современной науки и искусства, которым присущ “самовозрастающий логос”: подобно всем бытийным силам, развертывающим свое действие в культуре на принципах расширенного воспроизводства, им свойственна “способность идти так далеко, как только они могут” (Ж.Деррида).

В диссертации утверждается, что кризис репрезентации имеет объектную и субъектную стороны. Объектная его составляющая свидетельствует о растущей автономизации описаний в отношении к их производителям и о самореферентности текстов по отношению к их денотатам. Субъектная сторона кризиса говорит о возросшей имперсональности знания в отношении познающего субъекта, об

экстериоризации сферы техники, информации или мира искусства в отношении индивидуального творца подобно тому, как отчуждается товар в отношении производителя и потребителя.

Постмодерной философией предложен более радикальный взгляд на экономизацию науки и знания: они являются источником отнюдь не согласия относительно предмета исследования, как надеялся Ю.Хабермас, но напротив, причиной непрерывной изменчивости и экономической динамики. Капитализированное знание в обществе постиндустриального типа отличается высокая степень критичности к устоям европейской рациональности, оно усиливает нашу "чувствительность к различиям" (Ж.-Ф.Лиотар) как основной движущей силой общественного развития. Апорийный характер превышения научным знанием собственных пределов говорит о том, что в целом для эпистемы постнеклассического сознания характерна двусмысленность в отношении социокультурных конвенций отображения реальности. Так, в постмодернизме тождество и различие с модернизмом (отрицание реалистического изображения, заимствование искусством острающей силы экономики по отношению к привычной картине мира) является попыткой выдвинуть эстетической противовес структурным изменениям в жизни буржуазного общества, стать "остранением остраения".

В завершение параграфа рассматривается вопрос о компенсаторной природе художественного реализма — стремления убедить в доподлинности, приемлемости и единственной возможности именно данной реальности и методов ее репрезентации — которая может быть адекватно понята лишь в контексте де-реализирующей силы капитализма (Ж.-Ф.Лиотар), его способности дестабилизировать любые состояния устойчивой идентичности субъективного мира человека. В диссертации утверждается, что преобладание и отрицание постмодернизмом в равной степени как реализма, так и модернизма, позволяет ему претендовать на статус отрицания отрицания или являться сегодня "реализмом и модернизмом" в одном лице: в своем уподоблении экономике с ее эффектами де-реализации предметов повседневности, социальных конвенций и институтов, в постановке под вопрос принципов дискурса модернизма, осуществляемом изнутри модернизма по его собственным правилам. В то же время он остраивает и "завораживание реальностью" в художественном реализме, проблематизируя правила реалистической репрезентации с помощью умножения "фантазмов реализма", образов системы массовых коммуникаций и средств механического репродуцирования.

Двойственность постмодернизма по отношению к социально-экономической реальности современного общества, причастность ее к идеальной схематике при одновременном разоблачении власти ее

императивов выявляют парадоксальность системы координат децентрированной субъективности, рассмотренную нами в § 3 **“Проблема и параметры постмодерности в современном западном искусствознании”**. В нем дан анализ ряда концепций, наиболее представительных по отношению к западной художественной практике постмодернизма искусствоведов, художников, литераторов. Нам удалось продемонстрировать, что при всем различии подходов Р.Барта, В.Вельша, Ч.Дженкса, Л.Фидлера, Б.Олива, У.Эко и др., в них есть и некая общность – отслеживания в сознании и подсознании идеальной экономической схематики, выявления особенностей эпистемы рациональности постиндустриальной эпохи. Мы утверждаем вслед за Р.Бартом, Ж.Бодрийяром, М.Маклюэном, что сама реальность капиталистического общества в XIX-XX вв. существует лишь в атмосфере *перепроизводства* визуально-образных отражений. В постиндустриальном обществе избыток репрезентаций породил чувство дефицита реальности, переживаемое несмотря на умножение образов ее средствами механического репродуцирования. Родовой недостаток реальности возвращает нас к феномену непредставимого как человечески несоизмеримого, парадоксальная форма бытования которого в современной культуре должна быть раскрыта, по мнению Ж.-Ф.Лиотара, с помощью проблематики возвышенного. Именно в эстетике возвышенного, где утверждается разрыв корреляции между понятийным мышлением и образно-чувственным представлением, состоит одно из решающих условий пост-современной субъективности, находится движущая сила бесконечного изменения языков в искусстве модернизма и авангарда. Постмодерная философия находит выход из ситуации встречи с неопишуемым в духе логики апории: ее негативное представление позволяет увидеть, лишь запрещая увидеть. В отличие от модернизма, который просто указывает своими странными текстами на непредставимое, несоизмеримое вонне субъекта, постмодернизм как отрицание отрицания или вторичное освоение уже освоенного модернизмом материала (сакрализованного и монументализированного методом символической сублимации) указывает на непредставимое внутри самого представления посредством изобретения новых правил репрезентации, “рассеивания описаний”.

В основе художественного метода постмодернизма лежит принцип двойного кодирования текста, которое означает иронически-ностальгическое сопоставление в одном предмете противоречивых кодов — массового и элитарного, неценного и сверхценного, экзотерического и эзотерического, или одновременную причастность одного и того же субъекта к нескольким знаковым полям. Двойное кодирование позволяет автору не совпадать ни с одним из равноправных языков, присваиваемых

относительности внешнего и внутреннего, природного и социального, неценного и сверхценного. Они обнаруживают самое сокровенное и интериоризируют внешнее в пространстве души, подтверждая тем самым тезис о том, что само снятие противоположностей есть верный признак работы подсознания, динамики желания, логики сна.

Таким образом, в диссертации мы показываем, что посредством подчеркнуто внеэстетических, банальных вещей, постмодерное искусство способно репрезентировать далеко не банальные, экономически властные, онтологически весомые, абстрактно мыслимые, но чувственно непредставимые знаковые реальности: антиномичную схематику движения, потребительский характер визуального созерцания, идеальность процесса сигнификации. Однако проблема состоит в том, что, попадая в суверенные экономически функционирующие поля, банальные вещи преображаются, становятся “богатыми и странными”, самоговорящими. В семиотически перенасыщенных пространствах они увеличивают свою “прибавочную стоимость”.

Вторая глава “Метафоры экономики в неклассической философии” посвящена выяснению специфики организации и функциональным механизмам подобных знаковых пространств, исследованию онтологических, аксиологических, эпистемологических эффектов операции погружения в них.

В §1 «“Великая экономия целого” Фридриха Ницше» предпринимается попытка анализа философии Ф. Ницше как наиболее влиятельной и радикальной стратегии текстуального описания бесчеловечного характера бытийных сил, высвобождающихся в результате распада органически сложившихся духовных и социальных связей в процессе модернизации. Основой ницшевской стратегии явилась необходимость ответа на ужесточение давления со стороны “вечного становления”, на мощь и многообразие несоразмерных и неантропоморфных реальностей, “безразличия в форме власти”. Она включает в себя отказ от эгоцентрической модели мира и субъективности, ставку на необходимость негативного, внесистемного внутри самой системы, диалектику повиновения и сопротивления негативному, сообщничества как игрового общения и разыгрывания власти отчужденных сверхчеловеческих стихий. В неклассическую систему координат вписан экономический по своей сути эффект непрерывного острашения: взгляд на сознание и дух с точки зрения тела, на науку – с точки зрения художника, на искусство – с точки зрения жизни, на мораль – в контексте социальных отношений господства и подчинения. Еще одна экономическая операция – бесконечное обращение ценностей – осуществляется Ницше в русле критики им метафизики как неадекватной, производящей подмену абсолютизированными дискурсивными оппозициями (одна из сторон которых

методом цитирования, но отстраниться от обоих властных императивов. По ту сторону различий художник обнажает условность и удивительное сходство правил языковых в каждом из них и, в конечном итоге, дистанцируется от них, занимает мета-позицию в зоре между объектом и изначально двойственным способом его описания. В диссертации мы опираемся на богатый и разнообразный материал современной западной архитектуры, живописи, кинематографа, литературных произведений и восходящего к стратегии “рэди-мэйд” искусства объекта, на основании которых нами предложена классификация возможных вариантов подобного столкновения: инверсия, оспаривание, трансгрессивное снятие различия, деконструкция или синтез. Объектом репрезентации в данном случае служит неустраняемая и позитивно оцениваемая гетерогенность социолектов, этно- и социокультурных кодов, наслоение в субъективности разнородных эпистем, несовместимые коды которых являются следами исторического развития. Поэтому бесконечность истории является одним из наиболее любимых и трудно репрезентируемых объектов постмодерной репрезентации. Влечение постмодерна к границам и конфликтным зонам имеет прямые коннотации с экономикой как пространством сопоставления несопоставимого, объединения разнородного, а сами пограничные зоны культуры оказываются стратегическим резервом неизвестного, “паралогического” (не-знания; не-искусства), которое противостоит рассудочной рациональности и имеет в постиндустриальной культуре экономическую ценность: является источником динамики, способно к генерированию новых эвристических смыслов.

Постмодерная культура по своим несущим конструкциям оказывается удивительно однородной, на основании чего мы утверждаем в диссертации, что ее нельзя сводить к стилевой эклектике. Ее философско-мировоззренческие параметры включают в себя: признание всеобщей знаковой опосредованности современного видения природы, экономики или истории; повышенной информационной насыщенности социокультурного пространства; возрождение в искусстве интереса к этническому и региональному своеобразию; возвращение миметической проблематики в искусство, хотя речь идет об отражении второго порядка, при котором объектом репрезентации является сама репрезентация наряду с экономикой и знаковыми реальностями как источниками дестабилизации субъективности и социальной среды. В отличие от претензий модернизма на эзотерическое освоение бытийных глубин путем трансцендирования негативной опосредованности знаковыми системами, снятия метафизических оппозиций языка как технического инструмента сущего, постмодернизм в искусстве осуществляет сдвиг этой возвышенной стратегии символической сублимации в сторону широкого

фронта обыденной реальности, осуществляет инвестирование всего запредельного в повседневном. Данное обстоятельство позволяет считать постмодернизм экзотерической (погруженной в быт) формой эзотерического в свое время модернизма, обытовлением эзотерических реальностей, открытых в самом начале рассматриваемого нами большого исторического цикла. Вследствие всего сказанного происходит смена основного приема художественного метода: место категории “*остранения*” в модернизме и авангарде в постмодернизме занимает “*банализация*”, что отнюдь не означает апологии пошлости и бездуховности в человеческой субъективности. В современном мире модернистские оппозиции бытия и сущего, подлинного и неподлинного, глубинного и поверхностного снимаются. Бытийными становятся вещи ближнего радиуса действия, а потому странности нашего мира получают другую прописку. Всепроникающая экзотика “иного”, необходимая для рефлексии, обретается теперь в сфере экзотерического, обыденного, “того же самого”.

Увлечение постмодерна внешностью и поверхностностью во всех смыслах этого слова может быть адекватно понято лишь в контексте постановки проблемы бессознательного как в неклассической философии, так и ее последующего развития в пост-неклассической рациональности, включая неклассический психоанализ. В данном тематическом поле бессознательное трактуется как относительная противоположность традиционно “внутренним”, идеальным измерениям глубин человеческой субъективности, таким как сознание и дух. В рамках неклассической стратегии мышления этот феномен исследуется как внешняя детерминанта сознания, его оборотная сторона, находящаяся одновременно вовне сознания, но при этом объективно действующая изнутри сознания как бы “внутри внутреннего” в качестве “оживляющей и движущей силы мысли”, не подвергаясь искажающему действию цензуры сознания. Именно материальная поверхность вещи, прочитанная в духе неклассического психоанализа, становится знаковым выражением периферийного, вытесненного в пространстве культуры или выброшенного как символического аналога данной операции в сфере повседневно-бытовой (откуда и возник “мусорный дизайн”). Вот почему в искусстве постмодернизма инверсия внешнего и внутреннего, взятая в качестве основного объекта отображения и обнажающая скрытую механику разума, выступает свидетельством работы разнообразных модусов “либидинальной экономики”

(Ж.-Ф.Лиотар), инвестирующей свою энергию в кажущиеся не совместимыми на логическом уровне знаки. “Руинная эстетика” в архитектуре, так же как и “мусорный дизайн” в искусстве постмодернизма, не являются лишь символами полной пространственной

относительности внешнего и внутреннего, природного и социального, неценного и сверхценного. Они обнаруживают самое сокровенное и интериоризируют внешнее в пространстве души, подтверждая тем самым тезис о том, что само снятие противоположностей есть верный признак работы подсознания, динамики желания, логики сна.

Таким образом, в диссертации мы показываем, что посредством подчеркнуто внеэстетических, банальных вещей, постмодерное искусство способно репрезентировать далеко не банальные, экономически властные, онтологически весомые, абстрактно мыслимые, но чувственно непредставимые знаковые реальности: антиномичную схематику движения, потребительский характер визуального созерцания, идеальность процесса сигнификации. Однако проблема состоит в том, что, попадая в суверенные экономически функционирующие поля, банальные вещи преобразуются, становятся “богатыми и странными”, самоговорящими. В семиотически перенасыщенных пространствах они увеличивают свою “прибавочную стоимость”.

Вторая глава “Метафоры экономики в неклассической философии” посвящена выяснению специфики организации и функциональным механизмам подобных знаковых пространств, исследованию онтологических, аксиологических, эпистемологических эффектов операции погружения в них.

В §1 «“Великая экономия целого” Фридриха Ницше» предпринимается попытка анализа философии Ф. Ницше как наиболее влиятельной и радикальной стратегии текстуального описания бесчеловечного характера бытийных сил, высвобождающихся в результате распада органически сложившихся духовных и социальных связей в процессе модернизации. Основой ницшевской стратегии явилась необходимость ответа на ужесточение давления со стороны “вечного становления”, на мощь и многообразие несоразмерных и неантропоморфных реальностей, “безразличия в форме власти”. Она включает в себя отказ от эгоцентрической модели мира и субъективности, ставку на необходимость негативного, внесистемного внутри самой системы, диалектику повиновения и сопротивления негативному, сообщничества как игрового общения и разыгрывания власти отчужденных сверхчеловеческих стихий. В неклассическую систему координат вписан экономический по своей сути эффект непрерывного острашения: взгляд на сознание и дух с точки зрения тела, на науку – с точки зрения художника, на искусство – с точки зрения жизни, на мораль – в контексте социальных отношений господства и подчинения. Еще одна экономическая операция – бесконечное обращение ценностей – осуществляется Ницше в русле критики им метафизики как неадекватной, производящей подмену абсолютизированными дискурсивными оппозициями (одна из сторон которых

непременно господствует над другой) бытийных реалий. Переворачивание различий позволяет философу превратить инверсию ценностей в “конверсию” властных отношений внутри них, не только показать их релятивный, исторически-преходящий характер, но и вскрыть фатальное родство позитивного и негативного полюса, “условность безусловных авторитетов” теорий, концептов и дискурсов путем инсценировки их “погружения в бездну” внесистемного или метасистемного – “в гущу событий вечного становления”. Таким образом, модернизация предстает потоком психосоматических событий, который не контролируется, не регулируется сознанием, неполно и с опозданием схватывается обычными языковыми средствами.

В диссертации формулируется представление об особом характере мимезиса в ницшевском многоликом стиле письма: его объектом является одержимость субъективности властью внешних факторов (“ярмом” системы дискурсивных правил языка, программирующей сознание матрицы), захваченность игрой безмерно-расточительной бытийных сил, действующих внутри души и тела человека. Текст должен быть носителем заразной энергии бытия, с неотвратимостью действующей моделью психосоматического опыта душевных состояний, дестабилизированных погружением в поток вечного становления, непознаваемого обычным дискурсивным путем и невыразимого языковыми средствами нормальной коммуникации. Заслуга Ницше в том, что он наделил неклассический объект мимезиса возвышенным, дифирамбическим языком, не категориальным, но все же весьма концептуальным способом описания. Благодаря своему чувственно-телесному характеру, этот способ описания передает ценный опыт причастности игре сверхчеловеческих стихий не методом дискурсивного доказательства, но психомоторной индукции – художественного уподобления неотвратимой логике самодвижения текста. Многоликий, превышающий жанровые правила и дисциплинарные границы философского или художественного письма, стиль Ницше столь же расточителен (в аспекте расходования новых выразительных средств языка) как и объект мимезиса. Для того чтобы сделать окружающие человека бездны самоговорящими, необходима идентификация самого художника с бездной, утрирование ее силы ради ее истощения, удвоение в письме экономических эффектов бытия в ней, испытания на прочность банальных вещей и концептов, стертых имен и ценностей с целью приращения в итоге их “богатства и странности”.

Ницше применяет концепт “великой экономии целого” для утверждения необходимости внесистемного в дискурсе, продуктивной роли негативного в вечном переплетения “добра” и “зла”, сопричастности ее высшему творческому благу, поскольку негативность

является источником дестабилизации и динамики. Анализ роли внесистемного, периферийного у Ницше, осуществленный применительно к философии и искусству, получил в дальнейшем подтверждение в современной экономической теории. “Теневые” и служебные компоненты становятся основным результатом экономического развития, попытки же контроля терпят крах (П.Ф.Друкер). Усложнившуюся экономическую реальность невозможно представить в виде целостной и единой теории, потому что в каждом из нескольких уровней экономики, как и в каждой эпистеме современной субъективности, действует своя логика экономически мотивированного рационального поведения, не являющегося таковым с точки зрения соседствующих укладов. В силу общей концептуальной заряженности, экономические исследования в рамках пост-неклассической парадигмы знания столкнулись с феноменом непредставимого, неразрешимого, непознаваемого, также как искусство и философия. Ницшевская стратегия многоликого стиля письма оказалась в этом контексте эффективным выходом из неразрешимых ситуаций: суверенную экономическую реальность можно описать лишь через множество взаимодополнительных моделей. В заключение параграфа делается вывод о том, что эпистемологический аспект экономического измерения неклассической рациональности состоит в легитимации прогрессирующей странности и сложности теоретических описаний, появления в рамках матрицы расширенного текстуального производства дополнительных эвристических возможностей представления новых реальностей и, одновременно, наложения ограничений применимости классических теорий и прежних художественных практик в изменившихся социокультурных обстоятельствах.

В §2 “Философия необарокко Жоржа Батая в контексте постиндустриальной революции” анализируется развитие ницшевской концептуальной матрицы в гуманитарной теории и художественной практике эпохи перехода от индустриальной к постиндустриальной цивилизации, а также соответствующий сдвиг в структуре эпистемы неклассической рациональности. Возникающая в этот период пост-неклассическая рациональность обнаруживает множество признаков, родственных мироощущению культуры барокко, которая традиционно характеризуется через изобилие природных и социальных сил, динамизм, разнообразие и изменчивость жизни, могущество смертоносного, апофеоз экстатических практик, погружение в бесконечность, инсценированную во внутренних, субъективных пространствах, признание иллюзорности сознания. Стоящий у истоков пост-неклассической рациональности, Ж.Батай отмечает своеобразие современных форм богатства — изобилие языков, знаковых вещей и человеческой

негативности. Однако принятие философом ницшевского тезиса — “много мудрости есть в том, что много грязи есть в мире” — не означает опору лишь на темный характер человеческой натуры. Негативное наделяется сверхценным статусом потому, что в современной культуре оно оказывается внутренней пружиной развития, основным “вторичным сырьем” для катарсически очищающей переработки. С его помощью “разорванная” человеческая субъективность строит себя как конфликт, непрерывно теряет фиктивное единство, становится утверждением пафоса принципиальной открытости, неоконченности любого продукта человеческой деятельности, снимающим претензии системы классического дискурса на завершенность, убивающие творческое беспокойство и неудовлетворенность. Бездна негативного не лишает силы знание и рассудок, но предоставляет познающей мысли новое мета-пространство, иронически остраивает мысль не-мыслью (квази-мистическим опытом), позволяет обнажить в знании вырастающее внутри него не-знание. Батай осуществил проекцию положения Гегеля об опосредовании негативностью всякой рефлексии и самодвижения духа на катастрофический характер модернизации, убийственную силу времени и расчленяющего свой объект аналитического рассудка.

Таким образом, пост-неклассическая философия Ж.Батая отмечена чертами как сходства, так и различия с мировоззрением барокко. Ее отличие от барокко — в том, что исчезает позитивный центр субъективности, Бог, вместе с такими его заместителями в философском и художественном дискурсе как Смысл, Дух, Горизонт, Автор, Субъект. Барочные черты утрируются, у беспредельного отнимается предельный концепт внутри субъективности, легитимизирующий все остальные ценности, а все природное изобилие и драматизм внешнего мира интериоризируются, превращаются во “внутренний опыт” особых душевных состояний, в которых человек остро ощущает свою ограниченность и конечность.

Главной категорией, применяемой Ж.Батаем при осмыслении неподвластных сознанию бытийных реальностей экономики, бессознательного, языка, служит понятие “суверенности”, “самовластности”. Действия бытийных сил отличает безотлагательность страсти, самоценность жертвы, самодостаточность сверхчеловеческой стихии — способность идти “так далеко, как только они могут”. Отсюда следует признание излишества, одержимости, всякого рода экстазов, практики жертвоприношения и переворачивающего иерархию ценностей космического, безудержного смеха основными проявлениями игрового характера суверенных сил. Именно они образуют источник энергии всякой мысли, растрачиваемой и сковываемой по мере ее логического доказательства, дискурсивного развертывания. Для философии и

искусства все сказанное означает, что пишущий субъект не является больше абсолютным владельцем языка, который сам приобретает статус самовластной силы в отношении авторской субъективности. Стратегический поворот мысли Батая состоял в необходимости высвобождения энергии из оков дискурсивной системы, смиряющей силу языка, убивающей творческое беспокойство и неудовлетворенность. Избыточному действию суверенных сил должна соответствовать адекватная текстовая стратегия – самому пишущему следует стать столь же суверенно щедрым, одержимым, выходящим из берегов дисциплинарной матрицы интеллектуального разделения труда. Художник расточает утилитарно-знаковые, прагматические слои языка в “жертвоприношении слов” как основного богатства информационного общества ради создания в своих текстах – философских поэмах в прозе – действующих моделей “предельного опыта” субъективности, заставляя традиционные ценности, концепты, образы вибрировать, испытывая их на прочность в игре более могучих сил, чем любая дискурсивная система. Тотальной искусственности современного мира Батай противопоставляет удвоение языка, концентрацию фикций дискурса: если в нашем трагическом мире и возможен экстаз, то он движим фикциями, объектами страсти, аналогичными интуициям искусства. В силу сказанного, наука и искусство оказываются неравноценными в способности отражать суверенные моменты бытия. Основным пороком классического знания является редукционизм в отношении к иному. Институционализированная наука стремится заставить внедискурсивное работать на дискурс. Все неизвестное наука сводит к известному, другое к тому же самому, неосмысленное к смыслу, что делает ее слепой к вечному становлению бытия как лежащему по ту сторону достигнутых пределов незнаемому, к самим инструментальным средствам, инфраструктуре познания – собственной парадигме и условности дискурса. Логика искусства идет в другом направлении, подобно карнавалу смеху и жертвоприношению, – от известного к неизвестному. Искусство, в понимании Ж.Батая, причастно гетерогенным практикам, “не допускающим самой возможности покоя”, осуществляющим постановку устоев под вопрос, перемену композиции в системе ценностей, ниспровергающим переворотам в структуре дискурса или социальной иерархии.

По сравнению с ориентацией реалистического искусства XIX в. на объективность науки как образец для подражания, современная ситуация зеркально противоположна: неклассическая наука, скорее, сама подобна искусству модернизма. Она оказывается исключительно плодотворной в производстве инноваций, умножении научных описаний, образующих самореферентное, экспансивно расширяющееся множество сцепленных

друг с другом текстов, и в то же время убийственной в отношении своих прежних продуктов и устоев. Экономизированное знание, как и современное искусство, включает в свою систему гетерологическую практику трансгрессии — регулярного подрыва собственных пределов вырастающим изнутри незнанием, превышения границ, в которых существовала прежде “нормальная” институционализированная наука. Однако, любой трансгрессивный жест, обнажающий суверенность игровых начал бытия, по сути своей парадоксален (М.Фуко), в нем неразрывным образом сплетаются утверждение и отрицание: “производится то, что запрещается, делается возможным как раз то, что утверждается как невозможное” (Ж.Деррида). Высвобождение силы языка из рамок упорядоченных дискурсивных умозаключений столь же двойственно: с одной стороны, опустошение понятий (вплоть до осквернения, извращения путем утраты ими устойчивой идентичности — фиксированного значения) и обогащение опытом причастности к суверенности его категориальных средств методом языковой трансгрессии производится для того, чтобы через пульсацию знаков, сорванных с привычных орбит, дать почувствовать трепет суверенных сил. С другой стороны, экспрессивная сторона извращения языка, как передачи состояния аффектированной субъективности и одержимости тела художника суверенными силами, служит символическим репрезентантом или средством противостояния субъекта угнетающему действию самовластных реальностей.

Слова в батаевских текстах взрывают наличный язык от изобилия смысловых возможностей, но приобретают способность передавать долю несообщаемого, невыразимого в обычной коммуникации, могут бегло входить в другие сознания за счет повышенной суггестивности. Подобно героям барочного плутовского романа, они безмерно расточительны и тратят собственное или приращенное богатство без остатка. Но излишество, изобилие знаков суть свидетельство того, что является действительно суверенным в современном мире. Вечно бегущему всякой устойчивости и завершенности бытию постмодерный писатель должен отвечать столь же щедро, неэкономно, наделяя максимальной эстетической ценностью моменты наивысшей силы и интенсивности, когда “воспроизводя себя, жизнь выходит из берегов: избытком своим, быющим через-край, жизнь достигает наивысшего иступления” (Ж.Батай). Поэтому, в отличие от авангардной стратегии отказа миметически удваивать мир, его письмо дает пример типично постмодерного мимезиса — репрезентации того, что в избытке представлено в современной жизни. Художник действует методом удвоения, утрирования скользящего от строки к строке, от образа к образу, наконец, от объекта к объекту читающего взгляда, опосредованного кинематографической, теле-

визионной или мобильной, направленной сквозь ветровое стекло автомобиля, бесконечно скользящей справа налево и обратно, как в фильмах П.Гринуэя, нерамочной визуальностью. Концептуально изменившемуся пониманию бытия может соответствовать лишь художественный язык свободной миграции образов в “Уллисе” Дж.Джойса, где обезличивание сознания дается посредством нагромождения лиц с целью моделирования процесса стирания идентичности, или подобный речевым лавинам в романах С.Соколова.

В § 3 “Поэтика всеобщей экономии Жоржа Батая” раскрывается теоретический и методологический потенциал развития в современной гуманитарной науке матрицы “всеобщей экономии”. Она предполагает осмысление фактора неустраимых потерь внутри избыточного производства смыслов, издержек и утрат в отношении процессов репрезентации. Очевидная невозможность зафиксировать процессы символического обмена в современном мире или в микромире отдельного текста делает объяснимым данный мыслительный ход. Концептуальная матрица экономии не может быть сведена только к “растратному” принципу. Используя данное понятие как метафору, Батай превращает его в важнейший теоретический инструмент для исследования текстуальных практик ряда европейских художников и литераторов, применявших “многоликий” стиль или множество дополнительных стилей. (Унаследовав матрицу “всеобщей экономии” от Ж.Батая, Ж.Деррида применяет это понятие к ницшевскому корпусу текстов для того, чтобы объяснить оперирование философа одновременно внутри и ввне философского жанра, в нескольких регистрах – в литературной, критической, теоретической, исторической и политической дискурсивных практиках).

В понятии “экономию” отложен его греческий исток, когда *oikonomia* обозначала домоводство, порядок которого включает в себя не только организационно-управленческие отношения, но также отношения ценностного и энергетического обмена, взаимодействие которых строилось на принципах дополнителности. Общий пафос Батая, подчеркивающего наличие растратных, гетерологических практик внутри системы перепроизводства информации или смысла, направлен на проблематизацию буржуазно-ограниченного (калькулятивного) варианта экономии и подрыв ее претензий на единственность и универсальность. Заслуга Батая в том, что он распространяет схематику “рестриктивной” и “всеобщей” экономик на сферу организации текста, научного (дискурсивного) и художественного. В отличие от инструментальной, подчиненной человеческим целям и потому утилитарно работающей дискурсивной мысли, суверенные силы в поэзии ничему не служат и абсолютно самоценны, но как раз поэтому художественные

тексты и являются аккумуляторами огромной знаковой мощи. В их сверхплотном пространстве теряется человечески соразмерный смысл, исходная интенция, и система в своем функционировании начинает работать сама на себя. Энергетический аспект экономики манифестирует трансформацию представлений и об объективной макроэкономике в постиндустриальном обществе, утверждает момент игры “от избытка жизни” и его растраты в пространстве развертывания суверенных сил.

Движение субъективности или текстуальной реальности от “рестриктивной” экономики к “всеобщей” отображает сдвиг когнитивного стиля гуманитарной теории и практики художественного письма в направлении допуска в ее сферу стихии бессознательного, которое соткано из знаковых различий и должно быть переосмыслено с помощью данной матрицы в неантропоморфных категориях и метафорах. В процессе различения “рестриктивной” экономики от “всеобщей” следует исходить из сложного взаимодействия их по принципу дополнительности, а не метафизического противопоставления. Опирающаяся на пра-логические и пред-теоретические мыслительные практики культуры – праздничный обычай “потлача” (Ф.Боас, М.Мосс), лиминальные состояния в обрядах перемены статуса (В.Тернер), “всеобщая экономика” представляет собой неантропоморфную матрицу, предваряющую рассудочное понимание естественно-исторических стихий современного мира. Она позволяет в пространстве текста мгновенно, внедискурсивным путем приобщиться к самовластным бытийным силам, и в этом своем качестве, перефразируя Гегеля, является “началом и следом разумности”, как рестриктивно-экономного постепенного продвижения к истине шаг за шагом методом дискурсивного доказательства. Заслугой Батая следует считать философское и художественное обоснование им вслед за Ницше “ретроспективного” аспекта матрицы “всеобщей” экономики как такого утверждения суверенности, которое предшествует ее рассудочному освоению. Предложенный германским философом “перспективный” аспект — стратегия остранения, погружения в бездну как метод проблематизации и оспаривания устоев классической рациональности – также опосредован “всеобщей” экономией как состоянием утраты самообладания в дестабилизированной субъективности, что оказывается аналогом лиминального состояния в обрядах повышения социального статуса. Иначе говоря, для Ницше “всеобщая” экономика – это промежуточная веха развенчивания безусловных авторитетов, делегитимация аксиоматических оснований, освящающая смену схематики мышления (эскалацию “конца метафизики” как трансформации ее в новое качество) вслед за усложнением и “великим восхождением” жизни в процессе вечного становления. Следовательно, “рестриктивная” экономика

(дискурсивная схематика) мышления неизбежно базируется и вписывается в пределы большей – “всеобщей” экономии. Однако о последней нельзя говорить независимо от интерференции с проектами прогрессивного роста, сохранения смысла и воздержания от издержек, непродуктивных трат, полагаемыми внутри “рестриктивной” схематики, считает американский исследователь С.Мелвилл. Так, батаевское понятие “суверенность” конституируется на границах гегелевской диалектики господства и подчинения. Французский философ настойчиво подчеркивал диалектику продуктивных и непродуктивных затрат, поражений и побед, наконец, он утверждал, что прогресс духа основан на необходимости чистой и безвозмездной траты сил. Однако, в сущности не важно, “сколь жадно мы хотим утраты или приобретения, столкнуться с поражением или победой, проигрышем или выигрышем”, потому что это не зависит от нас.

Главной интеллектуальной инвестицией Батая в духовную ситуацию постмодерности является вписывание предиката издержек, растрат и невосполнимых потерь как раз в тех пунктах, где классическая гуманитарная теория (“рестриктивная” экономия) усматривала одни лишь завоевания и бесценные приобретения. В постмодерных исследованиях на первый план вышел иной аспект экономии, предполагающий применение метафоры энергетического поля к описанию действия суверенных сил, производящих бесполезную и бессмысленную растрату энергии (в значении, близком к используемому в теории термодинамики) в “богатых”, информационно насыщенных знаковых структурах. Интерес от издержек и избытка негативности смещается в сторону изучения приращения, прибавочного эффекта “сверхприбыли”, возникающего по ходу перестраивания системных границ дискурса в теоретических дисциплинах и художественных практиках. Согласно требованиям постмодерной поэтики, дискурсивную систему украшает лишь то, что ее “завершает” и превышает ее правила, оформление же ее границы происходит путем введения дополнения – вытесненного на периферию. Подобно гераклитовскому “огню”, мерами вспыхивающему, мерами затухающему по краям упорядоченного разумом космоса, моменты “всеобщей экономии” своими мгновенными вспышками обрамляют “царство дискурсивности” в пространстве нашей рефлексии и являются признаками расплаты (служат неизбежной платой) за процесс смены эпистем.

В заключение параграфа диссертации нами сделан вывод о том, что поиски схематики форм европейской рациональности в рамках постмодернистской эпистемы трансформируют старое гегелевское различие между рассудком и разумом в оппозицию “рестриктивной” и “всеобщей” экономии мышления. Отсюда следует вывод о возрастании

степени сложности, неоднородности западной субъективности, о наличии в гуманитарном знании как минимум двух слоев: родственного позитивному знанию естественных наук дискурсивно-рассудочного слоя и эзотерического пласта (квази-мистического опыта), доступного лишь посвященным, не подлежащим переводу в знаки и косвенно схватываемого лишь с помощью метафор, сравнений и аналогий. Смещение в сторону второго пласта началось в философии и искусства модернизма, пытавшегося проникнуть сквозь завесу расчленяющей способности рассудка во “внутренность внутреннего”, сквозь игру аналитических сил разума — к лежащей по ту сторону различий “истинной скрытой основе вещей” (Гегель). Установка на прочтение за языком внеязыкового, на выявление за вербальным невербализуемого, за дискурсивным недискурсивного, на узнавание за знаками знаковых систем, а за вещами породившую их экономику, установка на обнаружение неких сверхчувственных, интуитивно созерцаемых “общекультурных очевидностей”, сохраняется сегодня в постмодернизме. В рамках матрицы “всеобщей” экономии осуществляется смещение понимания теории и теоретического: вместо абстрактного, дискурсивно доказуемого экстракта позитивной сути, она дополняется внешними ей, нетеоретическими элементами (метафорами, риторикой, нарратией, политической стратегией и т.п.), маргинальными ей жанрами мистического общения, художественного письма, границы и логика которых превышаются и смещаются. Вся радикальность отличия, вводимого посредством “всеобщей экономии”, состоит в проблематизации самой возможности дискурсивного объяснения, в оспаривании возможности полного учета логически непредвиденных последствий самых продуманных, рациональных действий и их результатов, будь то в макроэкономике, будь то в научной теории или художественном тексте. Перефразируя Маркса, Батай как бы говорит нам: до сих пор философы лишь исчисляли мир, задача же состоит в том, чтобы вместе с художниками разыгрывать, инсценировать его в виде перформанса.

Глава 3 “Экономический мимезис” в письме Жака Деррида посвящена анализу философии Ж. Деррида, которая представляет собой наиболее развернутую фазу “*экономимезиса*” в теоретическом и философском дискурсах, утрачивающих центрированность на субъективности человека.

В §1 “Странный дифферанс”: экономическая логика смещенных названий” рассматривается соединение двух основных мотивов в трактовке “всеобщей экономии” — батаевской избыточности как проявления суверенности и нищевского острающего снятия (проблематизации) в категории “дифферанс” (*differance*). Она введена

Деррида для обозначения такой эскалации различительной способности мышления до состояния избытка, при котором различие превращалось бы в свою противоположность, откладывалось, вытеснялось и несло в себе *без-различие*. Смысл данной инновации становится понятен, если учесть, что дифференцирующая и идентифицирующая способность мышления реализуется в процессе наименования. Вот почему в рамках эпистемы классической рациональности имя является “словом слов” (П. Флоренский), золотой валютой в системе языковых обменов (М. Фуко); именуемость любой вещи втягивает ее в членораздельную речь, позволяет ей войти в систему тождеств и различий, чтобы быть познанной. Наследуя ницшевскую трактовку акта именования, называния как символического представления отношений господства, операции присвоения вещи, Деррида рассматривает имя как предел, сдерживающий производство значений в свободной игре означающих. Его позиция типична для постструктуралиста, который стремится повсюду смещать отношения доминирования и действовать не как господствующая, но как суверенная сила. В русле матрицы “всеобщей экономии” он сделал ставку на умножение наименований, жертвуя зафиксированными в понятиях и категориях различиями во имя чистого различения. Избытком девальвированных наименований философ стремится достичь неименуемого, освободиться от отложенных в системе имен дискурса парадигмальных программ, исчерпанных от продолжительного употребления. Подобная расточительная практика словоупотребления с древних времен считалась равносильной воздержанию от упоминания имени, сакральному определению предела.

Нарушение предела происходит у Деррида посредством стирания различия между искусством и философией, когда на первый план выходит их стратегическое сходство: обнаружение неизвестного в известном, незнания в знании, “другого в том же самом, внешнего — внутри”. Расточительная экономическая практика переименований позволила Деррида осуществить “интерпретативную формализацию” — выделить общий алгоритм таких разных видов репрезентации как литература и художественная критика, дополнительных к современной гуманитарной теории. Обращение философа к неклассическому искусству и филологии (“грамматологии”) означает, что им сделана ставка на трансgressию междисциплинарных и жанровых границ — на усиление внешнего, периферийного для философской науки, к примеру, на метафоры и аллегории, избыточные риторические элементы против абстрактных понятий и дискурсивного смысла. Он бесконечно дрейфует изнутри вовне научного дискурса, и обратно, занимая позицию “включенной выключенности”: свободы от необходимости писать под диктовку программных требований, закодированных уже в самих названиях

научных дисциплин — философии, филологии, поэзии. Ускользание от подвластности алгоритму лишь одного дисциплинарного пространства превращает писателя в постоянно путающего все карты “слугу трех господ”.

Мир Деррида полон информационно насыщенными вещами, размывающими границу между активным текстом и “пассивным” контекстом, внешним и внутренним, искусственным и естественным. Любая реальность текстуализируется, т.е. расслаивается, расчленяется, утрачивает свой первоначальный статус и обнаруживает свою “пористость” (Гегель), вовлекается в систему знаково опосредованных различий и становится “записью”, “описанием”, “следом” (в терминологии Деррида), бесконечно отсылающим к чему-то другому. Сама материя текста претерпевает изменения и трактуется настолько расширительно, что у нее практически нет предела. Однако подражание экономической ситуации нам видится не только в этом умножении различий-наименований (соотносимом с товарным разнообразием как основным продуктом постиндустриального общества), когда каждое из них является следом, отсылающим к другому следу. В этой пористой среде любое творчество окажется следом следа (чтением-расследованием “начал и следов разумности”), прокладыванием пути мысли. Но нет ничего банальнее декларации о читаемости всего как текста для человека, плывущего по волнам избыточных информационных потоков. Однако подобно тому, как под властью апорийной матрицы “всеобщей экономии”, производящей дестабилизацию дискурсивно упорядоченной картины мира, внутрь непрерывного различения вкрадывается безразличие (снятие именованного), точно так же Деррида сознательно нагнетает в своих текстах непреодолимую трудность восприятия — нечитаемость как отношение остраивающего предела для читающего глаза и модель дискурсивно неразрешимых проблем. Он программирует ситуацию многократного чтения, помещения в бездну негативного, разыгрываемую избытком запутанных следов-различий, но при этом писатель сам признается, что его тексты освобождены от подчинения логосу и истине, от всякого желания сказать о них, от необходимости “хорошего” рассказывания — линейно связанного изложения сути, потому что он сам не владеет ей.

Отказ Деррида от претензий на *владение* истиной как сутью и трактовки сознания как присутствия приводит его к моделированию в своих текстах отношений власти и подвластности человека силе сигнификации как отношений *дополнительности*, передаче ее действия через психосоматическое состояние одержимости субъекта. В диссертации показано, что концепция нелинейного письма как высвобождения из утилитарного дискурса силы сигнификации поэтического языка

(функционирующего по правилам всеобщей экономии дифферанса) соотносима с некоторыми трудно расшифро-вываемыми поэтическими текстами (О.Мандельштам, Э.Жабес и др.). Уклонение Деррида от позиции рассказчика, властно смиряющего повествовательный материал, несет в себе свою противоположность. Оно превращает текстуальности в медиацию действия властных сил и знаковых вещей, производящих в его текстах экономическую работу (инверсию ценностей, эскалацию острашения, обнажение суверенного характера прежде служебных, периферийных слоев субъективности, отелеснивание процесса письма и его восприятия, удвоение удвоения – репрезентацию репрезентативного аппарата). Сообщение философа превращается в сильную коммуникацию, способную передать ощущение зараженности, одержимости письмом.

Таким образом, эффект нечитаемости — инсценируемая в тексте ироническая проблематизация “присутствия” сознания субъекта как обладания сутью и как сохранения им самообладания духа — помещает истину в положение неопределенности, доводит ее до отношений неразрешимости в метафизических оппозициях-различиях. Эти отношения способствуют кристаллизации и выпадению в осадок (обнажают действие) схематики субъективности, программирующей взгляд человека на непрерывное чтение информации. Текст и письмо выступают носителями суверенных сил, неподконтрольного сознанию бессознательного языка, которое соткано из различий и прокладывает себе путь в следах-различиях. Деррида рассматривает Гегеля как своего ближайшего предшественника в плане создания философии суверенного (“годологического”, прокладывающего путь сознанию) письма. Он подчеркивает справедливую оценку Гегелем стирающей силы привычки в функционировании знаков, способность буквы как знакового посредника вытеснять обозначаемую ею фонетическую субстанцию и превратиться в иероглиф. Такое “немое” письмо предполагает “глухое” чтение потому, что снимает в чтении “про себя” соответствующие знакам фонемы и замещает их визуальными пространственно-графическими знаками (графемами). Гегелевскую догадку о смене фонетической доминанты нефонетической по мере возрастания абстрактности и повышения уровня сложности оперирования знаками в европейской культуре Деррида дополнил фактическим возрождением древнеегипетской концепции сакрализованного письма. Он производит смещение акцентов в концепции письма по двум параметрам. Отмеченный в классической философии недостаток прозрачности письма перед духом — чрезмерную многослойность знаковой опосредованности — он оборачивает достоинством, а силу письма как материального посредника, стирающую присутствие логоса и смысла, оборачивает

против присутствия в нем духа и дыхания как содержания и контролирующего начала над материей. В письме сквозь нефонетический момент прорывается сама разрушительно-созидательная сила жизни, двусмысленная работа истории в ее текстуальном воплощении: она ломает имя, снимает единство дыхания и понятия. Письмо, как верно угадал О.Мандельштам, начинается с эскалации “задыханий” – прерывания дыхания. Этот момент разрыва, негативности, позволяет Деррида ввести категорию различия как всеобщего знакового опосредования.

Суверенный характер записанной фразы как материального следа сознания состоит в ее самоценности, отсутствии смысловой телеологии и прямой коммуникативной направленности. Запись с необходимостью создает прибавочный продукт в написанном материале, в нее встроены механизмы сохранения информации, но также забвения, стирания употребляемого прежде смысла, укрытия истины. При этом сущность негативного полюса для сохранения и передачи информации может раскрыться во всей своей шире лишь тогда, когда мы откажемся от взгляда на забвение, стирание, сокрытие как только лишь человеческих черт. Негативность не следует понимать в духе расхожих представлений как простой недочет, нехватку информации или упущение, как состояние забывчивости человека. Точно так же как отсутствие, стирание, смерть и забвение – это особого рода содержательная преисполненность, дополнительная присутствию, воспоминанию, начертанию, — полагает Деррида. “Забвение не просто нападает на сущность бытия, будучи по видимости отделенным от нее. Будучи сопричастно бытию, оно властвует в качестве судьбы его сущности”, — пишет французский философ вслед М.Хайдеггеру.

В заключение параграфа делаются выводы о том, что, процесс движения мысли обрисован Деррида как цепь бесконечного замещения знаков, перекодирования и вуалирования истины, а никак не совлечение с нее покровов. Живая мысль в тексте выражается не столько в бытии-присутствии, в логосе-голосе, заполняющем сознание мыслящего человека, сколько в сложной игре позитивного полюса с его антитезой – *ничто*. Мышление базируется на различительной способности человека, несущей в себе свою противоположность (снятие), развертывается как стихия дифференции, порождения значений по мере создания ткани текста.

В § 2 “Апология окольных путей суверенного письма” анализируется концепция письма как “экономимезиса” мышления. В философии постструктурализма письмо является одной из масок бессознательного, играющего роль точки опоры в производстве идеальных пространств субъективности, которые обретаются пишущим и читающим человеком

для себя как объективные нелинейные сферы жизни в художественных и философских текстах. Будучи графическим описанием контуров стихии бессознательного, письмо делает видимым художественные или теоретические абстрактные реальности, трансгрессивно переводя их через границу зримого/незримого, того же самого/иного известного/неизвестного, о-смысленного/бессмысленного. Но, в отличие от Фрейда и Лакана, для которых психологическая работа бессознательного направлена на то, чтобы дать ему выразиться в рамках текста, стать *присутствующим* для нас, Деррида ставит акцент на другой стороне процесса – на эскалации *вытеснения*, потому что эта реальность вовсе не обязана выражать себя и искать нашего признания или стремиться к какой-либо целенаправленной коммуникации с нами, к передаче сообщения-послания. Для французского философа “всеобщая экономия бессознательного”, в котором невысказанное связано с высказанным на принципах дополнительности, пишет и пишется как раз в обратном направлении. Письмо артикулирует сопричастность невыраженного тому, что сказано, детерминацию бессознательного самим актом коммуникативного высказывания. Нелинейное и нелогичное с точки зрения классической системы координат, письмо Дёррида обладает “*годологической*” (путеводной) способностью продвигать путника помимо его воли к непредвиденному результату. В письме Деррида не столько обнаруживает замещенное, вуалированное значение, сколько обнаруживает сам механизм сокрытия, утаивания, разыгрывает саму конструкцию удержания, откладывания “на потом” цензурированных в сознании значений. Но поскольку знаки как таковые существуют лишь благодаря различиям, которые их разъединяют и указывают на невозможность полного присутствия духа, постольку совпадение структуры организации и функционирования бессознательного со структурой неподвластного логосу и смыслу письма позволяет применить к ним обоим *экономическую матрицу “дифферанса”*. Он “производит то, что запрещает, делает возможными те самые вещи, что провозглашаются невозможными” (Деррида). Отсюда следует, что в обладающем психоаналитическим измерением письме действуют разнонаправленные процессы: вытеснение, которому подвергается желание сказать, и символическая сублимация Иного – непристойного, неисчислимого, избыточного, стертого и банального.

Концепция письма Деррида выстраивается в противовес пониманию онтологизированного мышления как всемогущего откровения бытия. Различие с Хайдеггером нам видится в том, что немецкий и французский философы делают акценты на разных гранях бытия, а потому они имеют дело с разным письмом и его концептуальным осмыслением. Для Хайдеггера “бытие” просветленно и непотаенно в своем историческом

движении и раскрывающем его истину “экстазирующем времени”. Для Деррида бытийным атрибутом мышления и жизни является *сокрытие*, поскольку время, история трактуются им как стирающая знаковые следы сила, и в таком случае адекватным данному смысловому горизонту становится письмо как вуалирующая альтернатива несокрытости. Первым следствием размышлений Деррида над Хайдеггером стало признание: нет и не будет одного-единственного имени для “иного”, “бессознательного”, такого, например, как понятия “бытие”, “немыслимое” или даже сам “дифферанс”, а потому неизбежным оказывается рассеивание (*dissemination*) в письме имен и понятий, равно как и псевдонимов для неименуемых в классических терминах внедискурсивных сил. Вторым следствием оказывается признание статус-кво сущего, узаконивание стирания бытия (как сущности или трансцендентного означаемого) в качестве следа или письма нашей эпохи, замещение бытия техногенным существованием, игрой означающих в процессе его языкового или экономического освоения в современной культуре. Третьим следствием явилось то, что категория “бытие”, нетождественное своему трансцендентальному означающему метафизическое понятие, только тогда сможет представить своего референта графическим образом во всей мощи и полном объеме содержания, когда это означающее будет бытийно запечатлено в материи письма. Хайдеггер преодолевал этот зазор “посредством операции графического зачеркивания, <... > благодаря чему слово “*Sein*” переводится в бытийное измерение”, – отмечает В.Подорога. И, наконец, еще одним следствием оказывается признание Деррида, что “смысл бытия” является следом другого следа, т.е. производным по отношению к “экономическому” понятию различия, “*differance*”.

Суверенное письмо является процессом *экстериоризации* в отличие от *интериоризирующей* памяти, от присваивающей операции вспоминания, открывающей историю духа. В таком ключе прочитывает Деррида платоновские инвективы в адрес письма в диалоге “Федр”, где письмо характеризуется одновременно как мнемотехника и как сила забвения. Если для классической философии письмо подозрительно своей “нечистотой”, то для Деррида этот несовершенный “знак знаков” оказывается действующей материальной моделью мышления именно потому, что оно не укладывается в рамки сознания и логоса. Трансцендентное, внешнее сознанию, оно позволяет исследовать мышление как объект с позиций внаходимости. Оно разворачивается по ту сторону знаковых различий-следов сознания в качестве операции снятия присутствия и отсутствия, различая их между собой и обнаруживая в них другие следы – подсознательные детерминанты мысли. Но само снятие метафизических оппозиций в графическом письме происходит при

помощи производства все новых мыслительных различий. Эта амбивалентная логика “экономиметического” письма, стирающего старый инструментарий мышления и тут же конституирующего новые различия, делает письмо причастным самодвижению истории культуры. Релятивизируя псевдонимы бытия, письмо “всеобщей экономии” маркирует завершение некоторого пройденного этапа развития мышления и под лозунгом “преодоления метафизики” кладет предел классическому когнитивному стилю, знаменует собой начало эпохи: замещение (смену и наслоение) парадигмы неклассической рациональности эпистемой пост-неклассической, со своими языковыми играми. Именно в этом смысле, а не в значении онтологической первичности, Деррида говорит о таком письме как условно “последнем” и, в то же время, “первом” письме, завершающем и начинающем новую эпоху мысли. Преодоление ее эпистемологических границ возможно только путем письма, способного прорваться сквозь дискурсивные правила к новым мыслительным горизонтам, конституировать новые идеальные предметности.

Письмо самого Ж.Деррида полно антитетическими смыслами потому, что оно воспроизводит изначальную многослойность и гетерогенность бытия, разыгрывая его и втягивая на сцену репрезентаций, инсценируя игру бесконечных удвоений. Письмо имперсонально, независимо от субъекта, но владеет им как материально-устойчивая сила. Самодовлеющая активность его знаков неизбежно вуалирует и искажает изначальные интенции авторского сознания, превращая процесс написания в неподконтрольную сознанию реальность, в инобытие, тело мысли. Функционирование письма осуществляется “в отсутствие” личности автора и его целенаправленной воли к письму. Подлинным субъектом является продуцируемый макроэкономикой перманентный сдвиг ценностных структур. Основой письма является не волюнтаристское желание нечто сказать, но стремление избавиться от дестабилизированного состояния переполненности действием силы сигнификации и выйти из-под ее власти, подарив ее читателю посредством текста.

Производимое Ж.Деррида смещение приоритета от бытия к существованию распространяется и на проблему диалектики сущности и свойства вещи, решаемую им в неклассическом ключе. Функциональная свойственность вещи, по его мнению, оказывается в современной культуре взаимозаменяемой с ее идеальной сущностью или истиной бытия, а неотделимость от сущности делает возможной игру метафор. Поэтому метафоры, тропы как периферийные элементы языка для классической рациональности, характеризующие вещи, в отличие от понятий и категорий, не на основе их сущности, субстанции, а на

основе свойственности, и становятся наиболее привлекательными для пост-неклассической философии. “Экономическое” письмо Деррида, по его собственным словам, является художественным в том плане, что оно переворачивает отношения истины и лжи, явления и сущности, переориентируя научный дискурс в направлении поэзии: от известного, знакомого к неизвестному, неизвестному, от утилитарно осмысленного к бессмысленному. (Это письмо пишется не от желания сказать, подвести концептуальные итоги, но чтобы заставить смысл скользить, опустошить знаки от него, но при этом наделить текст способностью передавать энергию субъективных состояний, дестабилизированных современными формами избыточности, и заразить читателя высотой душевного напряжения субъекта, передаваемой лишь с помощью метафор).

В заключение главы мы доказываем, что Деррида утверждает неклассический вариант *мимезиса* в философии и искусстве. Объектом репрезентации в “экономимезисе” являются не предметы, а порождающие их процессы знакового производства и символического обращения. Для того чтобы уподобиться их операциям, субъект должен в себе, в своем имени, теле, судьбе обнаружить следы их работы, преобразив их действие в тексте в ряд экономических эффектов, измерений. Первый из них – это погружение благодаря соединению экономии и дифферанса в атмосферу внелично мотивированной, искусственно созданной неотвратимости – своего рода экономической неизбежности. Второе измерение выражает принцип “экономической иронии”, непрерывного переворачивания ценностных дискурсивных оппозиций с целью переосмысления претензий субъекта на достаточность и стабильность существования. Третье измерение реализует созидательно-разрушительный принцип действия в письме, когда утверждение и снятие различия, отношения повторения (иронически утрированного удвоения, вплоть до банализации) и остранения неразрывно сплетены друг с другом по принципу дополнительности. Наконец, четвертое измерение, посредством инсценирования операции “погружения в бездну”, фиксирует в языке его высвобождение из-под власти линейно упорядоченного дискурса и повествования игры знаковых сил (игры означающих).

В Главе 4 “Художественный текст как тело экономических стихий в теориях и практике современного искусства” раскрывается содержание концепции “экономического мимезиса” применительно к институциональному функционированию современного мира искусства, а также исследуется проникновение экономической схематики мышления как в классическое, так и в неклассическое искусство. Анализ Жаком Деррида диалектики отсутствия – присутствия является методологическим основанием для осмысления проблемы *репрезентации* –

центральной для практики и теории современного искусства, анализ которой ведется в §1 “Пустое место власти и проблема ее репрезентации”. Ее рассмотрение начинается с осмысления того факта, что в современной художественной ситуации внешнее и внутреннее, периферийное и центральное меняются местами: музейная и выставочная практики, деятельность галериста, менеджера, арт-критика, традиционно воспринимавшиеся как вторичные, берут под свой контроль создание собственно художественных ценностей. На уровне отдельного художественного объекта также происходит сдвиг в отношениях репрезентанта и репрезентируемого: все большее значение начинает играть подпись под картиной, текстуальность разрастается и проникает вовнутрь произведения, замещая собой содержание живописи, переносится на пространство музея, создающее художественную и потребительскую стоимость произведения.

Проблема объекта и механизма репрезентации выполняет функцию водораздела, между академически сориентированным западным искусствознанием и пост-структуралистской арт-критикой (на институциональное разделение которых указывают многие исследователи). Аксиомой для последней является признание искусства неотъемлемой частью социальных отношений господства и подчинения, зависимости между художественной репрезентацией и властью в нашей культуре. В диссертации рассматривается работа Ж.Деррида “Восстановление истины в живописи”, в которой в свою очередь анализируются две “классические” интерпретации знаменитой картины Ван Гога “Башмаки” – М.Хайдеггера и М.Шапиро. Оба интерпретатора полагают, что изображение на картине неживых предметов имеет смысл только в отношении к субъекту, поэтому ключевым вопросом интерпретации является вопрос о принадлежности: кому принадлежат башмаки? кого они представляют? Деррида доказывает, что попытки “идентификации” башмаков осуществляются в русле дискурса, соотносимого с определенным типом *имущественных* отношений, для которого центральным является желание присвоения, желание найти подлинное собственное имя, обозначающее конкретного человека, который бы выступал гарантом стандарта и стиля. Данный дискурс реализует себя в том типе искусствоведческого анализа, для которого главной является *атрибуция* произведения, строгое установление его принадлежности данному автору или данной эпохе.

Понимание живописи в русле “присваивающего” дискурса санкционирует взгляд на репрезентацию как на замещение: образ трактуется как дубликат или замена чего-то, что иным путем не проявляется. Фактически вся история искусства локализует репрезентацию в полюсах отсутствия – присутствия, являющихся фундаментальными полюсами,

на которых покоится западная метафизика. Данный взгляд на репрезентацию содержит в своей основе представление о прозрачности художественного отражения, которое в свою очередь возможно при сокрытии “сделанности” произведения, следов преобразующей работы художника. *Эквивалентность* объекта и знака в классических теориях репрезентации соответствует принципу *эквивалентного обмена*, господствующему в ранней буржуазной экономике и начавшему нарушаться в эпоху перехода к глобальной экономике.

Классическая система репрезентации предполагает наличие абсолютного субъекта – суверена, который “превращает себя в вещи путем трансформации вещей в свои репрезентации” (Л.Марин). Таким образом, репрезентация означает *присвоение* объекта и является частью *аппарата власти*. Проникновение властно-имущественных отношений в произведение искусства обычно осуществлялось посредством репрезентации самого властного субъекта. Однако в ряде случаев, например, в картинах Веласкеса, репрезентация осуществляется косвенным образом – утверждается взгляд власти, ее репрезентативный аппарат, но “откладываются” сами персонажи. Эпоха неклассической рациональности производит смену форм субъектности. Место абсолютного субъекта – трансцендентного разума замещается иными без- и сверх-личными формами суверенности. Этот процесс М.Фуко исследует в своем анализе “Менин” Веласкеса, картины, которая, по его мнению, открывает линию абстрактного искусства (“чистого изображения”). Отсутствие субъекта на сцене репрезентации подтверждается тем, что в картине Веласкеса мы видим лишь изнанку холста, на котором лишь предполагается появление портрета. В ней репрезентируется сам процесс репрезентации, обнажается изнанка мышления и искусства, что позволяет прийти к выводу об историчности всей системы репрезентации.

Критика репрезентации в теории и практике постмодерного искусства не ведет к отказу от нее. Исследуя ее границы изнутри, постмодерный художник демонстрирует, что любая реальность есть искусственное образование, создаваемое культурными конвенциями. В диссертации ведется анализ творчества таких выдающихся европейских и американских художников современности, как А.Кифер, Б.Крюгер, Ш. Ливайн, Д.Хокни, С.Шерман, которые в своем творчестве прибегают к различным способам опосредования создаваемых образов готовыми культурными структурами: включая фотографии в свои живописные полотна, репродуцируя живопись XVII века современными множительными средствами, объединяя фотографии с зеркалами, заключенными в рамы из дорогих пород дерева и т.д.

Восстановление мимезиса в своих правах в русле постмодерного искусства рождает вопрос о специфике и формах существования в нем

художественной образности. Этой проблеме посвящен §2 “**Нечитаемые иероглифы: аллегорическое изменение современного художественного мышления**”. В нем на разнообразном материале современного искусства (“ландшафтное искусство” Роберта Смитсона, аллегорические коллажи Джаспера Джонса и Роберта Раушенберга) анализируется такая форма бытования образности как *аллегория*. Теоретической основой исследования служит концепция письма Деррида, в частности логика “дифферанса” (сохранения и утверждения того, что подвергается сомнению и отрицанию) и стратегия деконструкции (критического переосмысления кодов художественного, в том числе и музейного дискурса изнутри системы дискурсивности).

Анализ инверсии натурального и искусственного в творчестве Р.Смитсона, одного из ярких представителей раннего постмодернизма, подтверждает ряд мировоззренческих и стилистических черт художественной практики последней трети XX в., выделенных нами в предыдущих главах. Отметим, прежде всего, *текстуализацию* художником геологических процессов, вовлечение природы в семиосферу и осмысление ее феноменов как знаков языка. Художник производит смещение искусства из мест традиционного пребывания – в музей и галерею – к недоступной периферии, создает художественные феномены, не помещающиеся в экспозиционное пространство (“Спиральный Мол” на озере Юта). Этот жест двойственен: с одной стороны, невмещаемое указывает на пустующее место в музее как заместителе храма в современной культуре, отражает утрату центра, с другой – он активизирует ценность природного пространства, окружающего работы художника, ставшего из натурального текстуальным. Происходит как бы “затмение” природы и бога языком. Проникновение языка в сферу пространственно-пластических искусств порождает его интенсификацию и разломы, в которых обнажается его допонятийное, досмысловое начало – Другое языка. Стремление художника поместить свои работы в особое текстуальное место, придать им вид укорененности в природном пространстве является по своей сути аллегорическим потому, что “Спиральный мол” воспринимается как органическая часть действия натуральных сил, оставляющих на этом тексте свои следы. Природа текстуализируется художником для зрителя, привыкшего постоянно считывать информацию. Инсценирование текстуальности природы письмом художника трактуется одновременно как приращение природных сил, но которые сами уже знаковы и чьи действия текстуально опосредованы, а потому читаются в контексте мыслительных горизонтов человека постиндустриальной цивилизации. В западной гуманитарной науке считается, что аллегория возникает тогда, когда один текст находится в зеркальных отношениях с другим –

удваивается, дублируется им в процессе переосмысления первичного текста сквозь призму прочтения его фигурального, иносказательного значения. Присваивающий экономический характер аллегорической образности несет в себе остранение, искажение первичного значения, и потому дополняется *“прибавочной стоимостью”* — приращением другого значения к вытесняемому и замещаемому. Поэтому аллегории никогда не приводят нас к взаимодействию с чистой, не опосредованной знаками реальностью.

Считавшаяся традиционно принадлежностью искусства барокко и критиковавшаяся в более позднее время за иллюстративность, вульгарность, частичность и фрагментарность, аллегория парадоксальным образом занимает все большее место в искусстве постмодернизма. Ее восстановление связано с возникновением разрыва с классической художественной традицией в эпоху модернизма, который постмодернизм преодолевает диалектическим образом по методу дифферанса: утверждения преемственности с прошлым внутри отрицания ценностных устоев классической эпистемы, приращения нового значения внутри заимствованной образной системы после произведенного художником сдвига. Стратегия “простого” паралогического накопления (иллюзорного снятия неразрешимых на логическом уровне противоречий) также является путем проникновения аллегории в современное искусство посредством коллажирования значащих вещей или расположения одного фрагмента текстуальной реальности подле другой.

Принятие современными художниками и критиками пост-структуралистского положения о фундаментальной непрозрачности знаков, неустранимая смутность аллегории связана с тем, что она не просто двусмысленна, но соединяет два одновременно несовместимых значения, когда читаемость одного исключает прочтение другого. Аллегория как отношение нечитаемости понималась П. де Маном и как структурная интерференция двух различных уровней употребления языка — буквального и риторического: первый из которых отрицает то, что другой утверждает, буквальное значение деконструирует метафорическую компоненту. Аллегория осложняет процесс чтения наличием в ней нечитаемого остатка, являясь непреодолимым барьером на пути понимания. Отношения неопределенности (неразрешимости) проблематизируют познавательные претензии человека на безграничную способность считывать, расшифровывать информацию.

В диссертации рассматриваются аллегорические произведения Р. Раушенберга и Дж. Джонса, репрезентирующие в наложении плоскостей принципиально гетерогенную среду существования человека. Слоистоплоскостные картины этих художников трансформируют зрителей в читателей, невольно втягивая их в дискурсивную активность — в

темпоральный по своей сути процесс отслеживания глазом образ за образом, строку за строкой. Помимо того, что эти художники попадают в резонанс с трактовкой текста как многослойного и непрозрачного феномена в философии пост-структурализма, они фиксируют возникновение в условиях постмодернизма качественно нового феномена — *текстуальной, или читающей визуальности*, приходящей на смену пространственно-иллюзорной визуальной культуре. Возможную версию прочтения произведений Р. Раушенберга дает деконструктивный подход Д. Кримпа. Двусмысленность аллегорических произведений состоит в том, что объектом искусства в них является сам дискурс музея “как менеджера сознания”, культурные коды коммуникации, совмещение представлений о духовных и экономических ценностях, правила их экспонирования, телеологически — “накопительное” понимание логики истории. В пост-структуралистском искусствознании музей предстает в десакрализованном виде — не только культурным, но экономическим институтом, выставочный характер которого сближает его с кодами торгового зала, витрины и рекламы. Музеи экспонируют накопленные сокровища с целью сделать наглядной и доступной “профанному” оку логику истории, восстановить ее из разрозненных художественных объектов в виде связной и однородной картины. Двусмысленность аллегорий Раушенберга в том, что деконструкция дискурсивных правил музейности осуществляется исключительно изнутри самого музея, в соответствии с теми же конвенциями, которые художник подвергает ироническому острашению и условность которых выставляет на всеобщее обозрение.

В заключение параграфа сделан вывод, что аллегория как многослойный феномен знакового замещения соединяет в себе черты метафоры и символа в смещенной форме. В философии искусства постструктурализма аллегория трактуется как результат распада символической образности эпохи модернизма. Если символ конвенционален, углубляет наше понимание реальности и уводит вовне, к экзотике трансцендентального, эзотерического, то аллегория обнажает его конвенциональность и “заземляет” трансцендентное означаемое символа, интериоризирует его и возвращает в повседневное, помещает в эзотерическое и представляет “Другое” в самом банальном виде, инсценирует его в том же самом. Искажая символ, аллегория заимствует его властный, императивный характер, его коммуникативный и социально-интегративный потенциал. Однако сохраняя и демонстрируя власть, аллегория доводит ее до состояния самораспада, провоцирует самодеконструкцию власти дискурсивной системы. Период постмодернизма знаменует собой возрождение аллегории как в формах популярного искусства (вестерн, гангстерская сага, научная фантастика),

так и в элитарных жанрах философско-художественного трактата, литературно-критического эссе у таких писателей-интеллектуалов, как М.Фуко, Ж.Деррида, С.Жижек.. Эффект действенности аллегории в современной субъективности похож на обнаруженный К.Левин-Строссом способ воздействия мифов на сознание первобытного человека. Ее функцией является иллюзорное разрешение неразрешимых конфликтов и противоречий путем поддержания их в состоянии временной приостановки, откладывания, “параалогического подвешивания”. Эта двойственная структура аллегорической репрезентации скрывает и открывает символические механизмы высказывания и вытеснения в мышлении и разрушительно-созидательное воздействие знаковых обменов в постиндустриальной экономике.

В **Заключении** подводятся итоги диссертационного исследования, касающиеся “экономического измерения” субъективности в неклассической философии искусства. Делаются выводы об эволюции “экономического дискурса” в гуманитарной науке, его эвристических возможностей для объяснения и типологизации разнообразных художественных практик XX века.

Основное содержание работы отражено в следующих публикациях:

1. Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, Батай, Фуко, Деррида. Монография. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, 1999 – 24 п.л.

2. Актуализация как феномен культуры // Искусство в системе культуры. Л., 1987 – 0,5 п.л.

3. Соцреализм в системе форм превращенного сознания // Проблема отчуждения в современной теории культуры, этике и эстетике. Свердловск: УрГУ, 1990. – 1 п.л. (в соавторстве).

4. Наследие М.Бахтина и эстетика постструктурализма // Эстетика М.Бахтина и современность. Сб. научн. тр. Свердловск: УрГУ, 1989. – 0, 2 п.л.

5. Модернизм – авангард – соцреализм – постмодернизм // Авангардные направления в советском изобразительном искусстве. Материалы международной конференции. Екатеринбург: УрГУ, 1993. – 1 п.л.

6. Знаки экономики и экономика знаков // Квадратура конструктивизма. Материалы международной конференции. М.: Центр Гете. 1994. – 0,5 п.л.

7. Постапокалиптический взгляд российского искусства // Символы π . Альманах // Оренбург: Галерея-фонд “Символы π ”, 1995, №1. – 0,5 п.л.

8. Машина войны против империи знаков (российское искусство 80-х в поисках утраченной легитимности) // Война, мир, ад и рай в искусстве, культуре, философии XX века. Материалы международной конференции. Омск: Гор. музей "Искусство Омска", 1995. – 0, 5 п.л.

9. Письмена бесконечности // Семь художников Урала. Каталог выставки. Екатеринбург: Высо, 1996. – 0,2 п.л.

10. Портрет постмодерности с экономическими стихиями в интерьере // Человек в пространстве времени. Каталог выставки. Омск: Гор. музей "Искусство Омска", 1998. – 0,5 п.л.

11. Возвышенное тело знака в философской онтологизации художественного языка // Грани культуры: Тезисы докладов и выступлений международной научн. конференции. С-Пб: С-Пб гос. ун-та, 1997. – 0,25 п.л.

12. От водородной бомбы до информационного взрыва: границы времен в пространстве российской культуры // Российская культура на рубеже пространств и времен. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 1998. – 0,25 п.л.

13. Ницше и культура России начала XX века: встреча с онтологией. // Русская литература первой трети XX века в контексте мировой культуры. Материалы I международной летней филологической школы. Екатеринбург: ГЦФ ВШ, 1998. – 0,3 п.л.

14. Франко-русские культурные связи и становление пост-модернизма. // Русская литература первой трети XX века в контексте мировой культуры. Материалы I международной летней филологической школы. Екатеринбург: ГЦФ ВШ, 1998. – 0,3 п.л.

15. Философско-мировоззренческие основания культуры и искусства XX века. Программа спецкурса. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 1997. – 0,8 п.л.

16. Рецензия на антологию «Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века — антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм» // Культурология: научно-образовательный вестник. М.— Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 1999, №5. — 0,2 п.л.

Подписано в печать 15.02.2000г. Формат 60 x 84 1/16
Печать офсетная. Бумага писчая. Зак № 66. Усл. печ. л. 2,5.
Тираж 100.

620083, Екатеринбург, К-83, пр. Ленина, 51. Типолаборатория УрГУ.